



Елена
Тахо-Годи

«У МИРНОГО ПОРОГА
МОЕГО...»

Елена А. Тахо-Годи

«У мирного порога моего...»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=60229591

Е. А. Тахо-Годи. У мирного порога моего...: Издательство «Водолей»;

Москва; 2020

ISBN 978-5-91763-503-3

Аннотация

Елена Тахо-Годи – филолог, поэт, прозаик; лауреат премий журналов «Звезда» и «Юность», премии «Серебряный век», номинант премии «Ясная поляна», «короткого списка» Бунинской премии и «длинного списка» премии «Московский счет». В книгу вошли рассказы и повести, как публиковавшиеся в журналах «Звезда», «Юность» и «Октябрь», так и печатающиеся впервые. Все тексты объединяет общая тема глубинного катастрофизма жизни, ставящей перед человеческой личностью экзистенциальные вопросы о смысле бытия и собственного существования.

Содержание

Фотограф	5
У мирного порога моего...	30
Слепые	30
Дурак	91
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Елена Тахо-Годи

У мирного порога моего...

© Е. А. Тахо-Годи, 2020

© Е. Б. Виноградова, фотография, 2020

© Издательство «Водолей», оформление, 2020

*** * ***

Фотограф

Из путевых впечатлений

Однажды так случилось, что моя давняя мечта – побывать на французской Ривьере – осуществилась. Скоростной поезд нес меня от Парижа на юг. Сначала за оконным стеклом тянулась обычная и, в общем-то, ничем не примечательная равнина под сероватым, затянутым облаками небом. Но чем дальше, тем дорога становилась живописнее. По обеим сторонам постепенно нарастали покрытые густым зеленым лесом холмы. На фоне прояснившегося небесного свода причудливо изгибались и вздымались предгорья. Казалось, что это уже Альпы, хотя до настоящих Альп было весьма и весьма далеко.

Удивительно было равнодушие пассажиров – дремлющих, читающих, жующих, болтающих, – не обращавших практически никакого внимания на мир за окном. Мой же интерес к тому, что было за пределами вагона, явно вызывал недоумение у соседей, особенно когда я, вынув фотоаппарат, стала через стекло снимать пленявшие виды. Снимки выходили неудачными, смазанными, размытыми, так как поезд проносился быстрее, чем я успевала сделать кадр. И все-таки я продолжала попытки.

Авиньон, Тулон... От всех этих названий пролетающих

станций душа пьянела и начинала кружиться голова. Авиньонское пленение пап, ужасы тулонской каторги, первая громкая наполеоновская победа, мечты о своем «Тулоне» толстовского князя Андрея – миражи ассоциаций вспыхивали и гасли. А впереди – Средиземное море, покорившее меня красотой уже при первой встрече. Я и теперь, спустя годы, не могу забыть его жемчужно-розовую, едва колеблемую гладь, сливающуюся на рассвете с песчаным берегом под Лидо-ди-Езоло. Но это было давно, и это было в Италии. А теперь оно мелькнуло после Тулона совсем близко ослепляюще-яркой синью и исчезло – поезд, обходя хребет Мор, свернул к Драгиньяну.

Жаль, что я не увижу весь Лазурный берег – Йер, Сен-Тропе, что вагон вынырнет к побережью лишь у Фрежюса и Сен-Рафаэля – у этого скопища скучных и безликих построек. Но пусть здесь бетонные коробки отелей и отельчиков теснятся одна к другой – за окном вновь мелькает изрезанный бухтами берег; красновато-коричневые и глинисто-желтые уступы массива Эстерель то приближаются, то исчезают, когда поезд погружается в черноту туннеля. Мимо проносятся Канны, Антиб с развевающимся флагом над темным зубчатым многоугольником замка Гримальди, где хранится коллекция Пикассо; крошечный Биот с музеем Фернана Леже, в который я явно не попаду; и тянется, тянется, петляя, истончаясь, расширяясь, песчаная прибрежная полоса – или почти первозданная, необжитая, или рассеченная обустро-

енными пляжами, но так же радостно принимающая в объятия море – то прозрачно-голубое, то чернильно-фиолетовое. Позади Кань-сюр-Мер с домом Ренуара, и за стеклом разворачивается, словно веер, большая бухта с поднимающимся по ее склонам амфитеатром-городом, издали ослепительно белым. «О, этот юг, о, эта Ницца...» – вертится в голове тютчевская строка.

В Ницце выхожу. После светлого и прохладного вагона на небольшом и неновом вокзале сумрачно, жарко и влажно. Томительно долго стою в очереди, чтобы купить нужные на завтра и послезавтра билеты. Кассир – скорее итальянец, чем француз, судя по его выпуклым губам, крупным черным завиткам на висках и смуглой пористой коже, – видя, что я иностранка, с тщательной медленностью перечисляет время и станции прибытия. Когда он желает мне «Bon voyage!», я с облегчением говорю ему «Merci» и обретаю долгожданную свободу.

Поворачиваю от вокзала налево, к авеню Жан Мед-сен. Иду и смотрю на пальмы, на растущие под ними на газоне, как сорняки, кактусы, и все вокруг представляется немного ирреальным. Вот так близко, если, конечно, не считать оранжерей, я видела пальмы в далеком детстве, когда была трехлетняя в Гаграх и Сухуми. Но об этом я знаю скорее по рассказам, а в памяти, может быть, сохранилась от сухумского ботанического сада одна огромная *Victoria Regia*, распластавшаяся на черной воде огромным, как плот, плоским ли-

стом, – и всё. Даже фотографий, по которым можно было бы что-то вспомнить, не сохранилось. Хотя к чему эти фотографии – черно-белые, что они могут передать? – зафиксировать факт, не более того.

Идти недалеко. Я буду жить в центре. Мой отель по соседству, на улице Ламартина. Что ж, такое романтическое название вполне отвечает сегодняшнему настроению – тревожно-праздничному.

Портье выдает ключ, и я поднимаюсь в зеркальном лифте в крошечный номер с нависающим над головой скошенным потолком. Отсюда, из мансарды, видны одни крыши да небо – бескрайнее, яркое, ласкающее голубизной, словно море.

Конечно, надо бы отдохнуть с дороги, но обидно терять время – его и так в обрез, а увидеть хочется все. Из-под душа ныряю в шелковое летнее платье и слетаю, не дождав-шись лифта, по витой, с бархатными красными занавесами на окнах, узкой лестнице. Иду пешком к площади Массена, хотя можно подъехать на серо-стальном, похожем на ракету трамвае, бесшумно скользящем по запруженной народом авеню Жан Мед-сен. К концу дня уставшие ноги будут мстить болью, а может, и сорванными волдырями за каждый лишний шаг, но я люблю ходить в незнакомом городе пешком, чтобы прочувствовать его масштаб, чтобы не быть связанной маршрутом, чтобы в любую минуту нырнуть в понравившийся переулок или вообще повернуть в противоположную сторону. Я знаю, что не окажусь оригинальной и,

как всякий турист, буду смотреть на то, на что призывают обратить внимание гиды и путеводители, в том числе мой, заранее купленный в Москве. А вместе с тем какое-то инстинктивное, первобытное чувство охоты – пусть это только охота за впечатлениями – пробуждается каждый раз, когда я оказываюсь с фотоаппаратом в руках в незнакомом месте. И, подходя к площади Массена, похожей на черно-белую шахматную доску, окруженную яркими оранжевыми домами, глядя на фонтаны, бьющие в синее высокое небо, на взлетающие к нему зеленые вихры пальм и развесистые кроны пиний парка Альберта I, я чувствую себя в густой толпе первопроходцем, открывающим новые, неведомые никому территории. Звук выдвигающегося объектива и нажатие на кнопку фотоаппарата ощущается, как взгляд в прицел и спуск взведенного курка.

На Английской набережной стоит гул от пролетающих машин, вонь бензина, которую ветер с моря лишь едва приглушает.купающихся нет, пляжи почти пусты – бархатный сезон позади, по здешним понятиям уже прохладно – всего +26–28 в тени. Я с удовольствием покинула бы набережную, но нельзя же не дойти до знаменитого отеля «Негреско»!.. Зачем мне «Негреско»? – спросите вы. Да все из того же азарта – то ли первобытно-охотничьего, то ли псевдокультурного, сама не ведаю. Вот он уже видится – белоснежный, как взбитые сливки, с розовато-малиновой пенкой помпезного купола, сконструированного Эйфелем. «В реальности

он выглядит несравненно выигрышней, чем на фотографиях в путеводителе», – думаю я, тут же с облегчением сворачивая в тенистую улочку Риволи.

Тем временем из отеля по ступеням спускается пара – начинающий стареть мужчина покорно ведет к машине, припаркованной на углу Риволи и Английской набережной, пожилую даму. По-видимому, это мать и сын. Оба в белых костюмах, ничего вызывающего, терпеливо ждут, когда последний чемодан вместят в багажник небольшой, идеально белой машины, ничем не привлекающей внимания. Пока капризничаящий чемодан утрамбовывается, дама с легкой иронической усмешкой наблюдает сквозь узкие стекла очков в тонкой металлической оправе, как потный толстяк в зеленой рубашке и коричневых брюках на ломаном французском языке ведет переговоры со швейцаром, а потом суетливо взбегает по ступенькам, чтобы заснять из дверей роскошный холл знаменитого отеля.

– Let's sit down, my dear¹, – вполголоса говорит дама, когда багажник захлопывается и шофер распахивает дверцы машины. И они уезжают, тихие, незаметные обитатели шикарного «Негреско», а я решаю не заходить в Музей искусства и истории, расположенный напротив, – видимо, буржуазный дух побеждает.

Я петляю по невзрачным улочкам, по авеню с элегантными витринами, выбираясь из «новой» Ниццы в «старую»,

¹ Давай сядем, мой дорогой (англ.).

ближе к площади Дворца Правосудия и улице Префектуры, где полтора столетия назад жил и мучительно угасал Паганини. Я хочу найти улицу Сегуран, по которой, как сказано в путеводителе, проще всего подняться на Холм Шато, но старый город начинает со мной игру и каждый раз заводит в заманчивый, но бесперспективный тупик. Это и раздражает, и забавляет, и утомляет, и интригует, и дразнит, и очаровывает – так мало лабиринт улиц похож на французский город, так много здесь от Италии.

Наконец нахожу лестницу, ведущую вверх, и выхожу к небольшой часовне, расположенной у дороги к Шато – крепости, снесенной Людовиком XIV. Часовня заперта, как и кладбищенские ворота, – сквозь решетку видны белый камень надгробий, черно-зеленый траур кипарисов. На часах без четверти шесть. С небольшой площадки открываются альпийские предгорья, бухта, Ницца. Город, как десятки тысяч детских кубиков, рассыпался внизу и начинает таять во влажных сумерках. Горы постепенно теряют очертания под набежавшей серебристой дымкой. Только море еще светится, и искрится, и переливается, впитывая в себя, словно огненный дождь, последние солнечные лучи – розоватые, вечерние. Душу наполняют мир и покой. И как-то странно, что рядом, за кладбищенской оградой, лежит убежденный атеист Герцен, что по тем же, может быть, камням и под теми же самыми деревьями, что и я, поднимался и смотрел на этот город, море и небо Ницше – смотрел, ненавидя и проклиная

их Творца.

Стремительно, черным занавесом опускается южный вечер. Как законопослушный обыватель, честно отработавший день, усталая, сажусь в трамвай, чтобы скорее вернуться на свою улицу Ламартина, где в открытое мансардное окно моей крошечной комнаты будет до глубокой ночи доноситься гул южного города, который никак не может утомиться. Да и мне не спится. Я представляю, как завтра поеду в Тенд, послезавтра в Вентимилью, потом в Ментону, а потом...

И я еду в Тенд утром в полупустом вагоне. Поезд медленно тянется по извилистому ущелью мимо разломов скал, мимо маленьких деревушек к долине реки Ройя. Я соскучилась по горам, мне хочется снежных вершин, я верчусь у окошечка, пытаюсь увидеть хоть одну, но их нет, и это огорчает, хотя ущелье красиво, и я старательно щелкаю фотоаппаратом, как только поезд вновь выплывает из очередного туннеля. Вот уже позади Соспель и Саорж, вот сам Тенд, затерянная в горах миниатюрная копия средневекового города. Трогательная надпись над крошечной площадью: «Вы находитесь в историческом центре Тенда – примите это во внимание и ведите себя достойно»... Узкие, в размах рук, улочки, вымощенные камнем... Переулочки, обрывающиеся в пустоту на отвесных склонах... Взмывающие вертикально лесенки, где двоим практически не разминуться... Фонтаны, журчащие в арочных нишах... Кладка стен, заставляющая вспомнить о древних башнях... Крошечные мадонны на углах домов с

окошками-бойницами, под которыми обыденно-вызывающе сушится на веревках белье... Булыжники на подоконниках первых этажей или у порога, заменяющие дверные звонки, – захочешь постучать, все будет слышнее, чем барабанить костяшками пальцев... Храм, хорошо заметный издали и теряющийся из поля зрения по мере приближения к нему, выкрашенный снаружи ярко-рыжей охрой, а внутри с каким-то немыслимым ультрамариновым сводом... Полдень. От гор веет прохладой. Тихо. Безлюдно. Только гулко отзываются собственные шаги. Почти город мертвых, если бы не раскачивающееся под ветром мокрое белье, газеты, торчащие из почтовых ящиков, булочная, из распахнутой двери которой несется совсем не французское «Buongiorno»...

На обратном пути в вагоне нас всего двое – я и пухлый коротышка лет сорока пяти, в куртке поверх клетчатой рубашки. Ему явно хочется заговорить, он периодически искося поглядывает на меня из-под выгоревших ресниц большими, чуть навывкате глазами. Наконец в Саорже к нам подсаживается высокий черноволосый парень. Коротышка оживленно подпрыгивает и радостно жмет ему руку, когда тот садится рядом. По-видимому, они давно знакомы, и тут такая встреча! Несколько фраз по-французски, затем маленький человечек в клетчатой рубашке переходит на итальянский. Собеседник-француз отвечает, но не слишком бойко. «Lente, lente...»² – умоляюще просит он. Коротышка стара-

² Медленнее, медленнее... (итал.).

ется всеми силами соблюсти это «lente», хотя он так счастлив, что нашел, с кем поговорить, что периодически убыстряет темп. Я смотрю в окно и с удовольствием ловлю раскатистые, сочные звуки его итальянского. Он говорит, с таким наслаждением артикулируя каждое родное слово, что возникает иллюзия, будто я его вполне понимаю. Уж не коммунист ли он, этот безвестный потомок Цицерона? Как яростно он клеймит Берлускони! Чем тот занимается? – всё женщины да деньги. А еще говорят, что виновата Cosa Nostra, эта мафия... Но чем правительство лучше? А Саркози? О, mamma mia, чем он лучше Берлускони? Все те же интересы, все те же цели... Какие? – спрашиваешь ты. – Какие! Конечно, деньги, только деньги.

– Soldi!.. Soldi!..³ – выкрикивает он и сладострастно тянет пухлую ладонь к собеседнику. – Только деньги!..

Иногда я перестаю вслушиваться в его слова, иногда улавливаю снова: теперь он ругает продажных журналистов, телевидение, газеты, эти «La Tribuna», «Corriere della Sera», «Le Figaro»...

– Lente... lente, – умоляюще повторяет слушатель, и словесный поток вновь входит в эпические берега, не теряя, однако, своей патетичности – ни в интонации, ни в жестике.

Поезд останавливается. Это Ницца. Пухлый праправнук римского ритора с сожалением энергично жмет руку долго-

³ Деньги!.. Деньги!.. (итал.).

взятому товарищу. Тот тоже расстается с ним не без печали – так хорошо обо всем поговорили. Да и мне жаль – я уже привыкла за два часа пути ко всем этим soldi, politica, popolo, bestia, tutti quanti⁴...

Эта поездка – лишь прелюдия к увиденной назавтра Вентимилье. В этом первом итальянском городке у французской границы – теперь, в объединенной Европе, практически незаметной – так же высится над лабиринтом кварталов собор, такие же тесные крутые улочки, что и в Тенде, та же Ройя, но уже не бегущая бурно далеко-далеко вниз, в ложбине ущелья, а тихо и плавно вливающаяся в море, прикипая устьем к его бескрайнему простору, словно жаждущий к чаше. А вверх по течению высятся Альпы, где-то на пути к ним ущелье Саорж, Тенд, а за ним Долина Чудес, с горными озерами, наскальными рисунками, головокружительными перевалами, по которым мне никогда не пройти...

Старая Вентимилья прекрасна в своей простоте. Аскетически суровая кладка из белого камня романского собора Санта-Мария-Ассунта и баптистерия. Тихое мелководье в устье Ройи, где по зеленоватой воде лениво скользят белоснежные лебеди. Слитность лазурного неба, моря, реки, гор. Ментона обширней, фешенебельней, но уже кажется бесконечно узнаваемой – это Тенд, увеличенный в десятки раз, или Вентимилья, внезапно расширившаяся, или растянутая панорама кварталов «старой», итальянской Ниццы. Начина-

⁴ Деньги, политика, народ, дурак, все... (итал.).

ешь понимать, что вся прелесть вовсе не в узких мощеных улочках, не в архитектуре и охре всех оттенков, покрывающей стены домов и словно спускающей яркое слепящее солнце с неба на землю, а в самой природе – в сочно-зеленом размахе пиний, в кактусах, тянущих прочные стебли-канаты выше заборов, в стволах пальм, покрытых жестким начесом, в скульптурно-безжизненных кипарисах, в пятнисто-прозрачных платанах, в растрепанных, словно хиппи, эвкалиптах, в этом вечно радующем глаз непрерывной сменой оттенков море, в раскаленном, обжигающем солнце, в ослепляющем лазурью небе, в самом воздухе – горячем, пряном и пьянящем...

Рокебрюн, Эз, Вильфранш-сюр-Мер... Я увижу их лишь издали, когда они промелькнут в вагонном окне и исчезнут. Увы, всего не успеть, и я выбираю Монако.

Словно высланный черным мрамором грот, выпускает меня монахский вокзал и выпускает на пляс Сен-Дево, названной по маленькой часовне, стоящей тут. Теперь автобусом в Монако-Виль, во дворец князей Гримальди. Миниатюрные, но стильно обставленные покои... Похожий на небольшую гостиную тронный зал... По Наполеоновскому музею я брожу одна. Публика в основном толпится в кафедральном соборе, снаружи напоминая, как и дворец, скорее мавританский замок, у могилы погибшей четверть века назад княгини Грейс Патриции. Чудесная сказка о голливудской актрисе, покорившей сердце правителя Монако, действует на

воображение моих современников сильнее, чем старая история о молодом офицере-корсиканце, попытавшемся завоевать полмира.

Княжеский Океанографический музей мне неинтересен. Я предпочитаю посмотреть, что такое монахский Экзотический сад. Узкие дорожки выются серпантинном по склону скалы, нависающей над Монако-Виллем, выются между каменистых уступов, покрытых десятками, сотнями сортов кактусов: крошечных, словно крокусы, и многометровых, подобных деревьям, плоских и шаровидных, гладких и усыпанных тысячами игл, безжизненно-восковых или усеянных самыми причудливыми цветами всевозможных оттенков – от белоснежного до оранжево-красного.

– That is the Paradise, that is real earthly Paradise, John!⁵ – восторженно восклицает женский голос за моей спиной.

Я оглядываюсь. Это элегантная дама лет пятидесяти из маленькой группки английских туристов.

– John, please... Do you hear me? Stop, darling!⁶ – командует она, и Джон, круглощекий шестидесятилетний джентльмен в идеально отглаженных белых штанах и небесно-голубой рубашке, послушно останавливается. – Джон, милый, стань сюда. Нет, ближе. Ближе вот к этому кактусу. Хорошо. Теперь, дорогой, протяни к нему руку. О, нет, Джон! Не прикасайся – кто знает, вдруг он ядовитый?! А если и нет, ты

⁵ Это рай, это подлинный земной рай, Джон! (англ.).

⁶ Джон, пожалуйста... Ты слышишь меня? Остановись, дорогой! (англ.).

можешь занозить руку. Так, так, хорошо. Отступи на шаг и улыбнись. Ну зачем так неестественно-широко?! Джон, прекрати паясничать! Отлично, Джон! Смотри на кактус. Джон, я снимаю – смотри на меня. И на меня, и на кактус. Почему не можешь? Ты что, не хочешь на меня смотреть? Тебе больше нравится кактус? Какое любезное признание с твоей стороны. Джон, милочка, да, так. Замри! Отлично! Снимаю. Все, можешь идти. Джон! Ты меня слышишь?

Неприлично все время оборачиваться, но я не удерживаюсь и опять бросаю взгляд назад. Дама вертит фотоаппаратом перед Джоном. У него веселая, добрая улыбка, живая и ироничная, в глазах, словно прячущихся за гладкими розовыми щеками, посверкивают озорные огоньки. Какой милый диккенсовский мистер Пиквик! Наши глаза встречаются. На мгновение я отвожу взгляд, но поднимаю вновь:

– Excuse me, – нерешительно начинаю я, – may I ask you...

– Surely, surely! With great pleasure! – отвечает он радостно сочным баритоном, не давая договорить и забирая из моей полупротянутой руки фотоаппарат. – Where do you prefer? Here or there? No difference? May be here? Okay? Why no flash? May be, once more? Okay? Look, please. It is pretty, is it?⁷

Несколько сконфуженная строгим взглядом его супруги,

⁷ Извините, можно вас попросить вас... – Разумеется, разумеется! С большим удовольствием! Где вы предпочитаете? Здесь или там? Нет разницы? Может быть, здесь? Хорошо? Почему нет вспышки? Может быть, еще раз? Хорошо? Посмотрите, пожалуйста. Удачно, правда? (англ.).

я благодарю невнятно и не столь сердечно, как хотелось бы.

Мы расходимся в разные стороны. Прощайте, прощайте, милый, улыбчивый мистер Пиквик! Свидимся ли мы еще? Вдруг наши пути вновь пересекутся на извилистых, словно лабиринты судьбы, улочках Ниццы? Кто знает... Сделанная вами фотография когда-нибудь напомнит о вашей сердечной веселости и окажется единственным свидетельством того, что мое пребывание в этих краях не было фантазией или иллюзией. На всех других фото запечатлятся платаны, пинии, кипарисы, виллы, площади, улицы, церкви, горы, море, небо и даже фрагмент небесно-голубой рубашки невысокого плотного джентльмена, уходящего вслед за своей решительной супругой, но, как ни грустно, не будет меня, даже моей тени – только направление моего взгляда, искаженное или откорректированное оптическим устройством фирмы «Canon». Останутся в моем фотоаппарате и усеянные кактусами каменистые склоны Экзотического сада, и панорама Монако, снятая с узкой галереи-балкончика, нависающего на высоте птичьего полета над игрушечным княжеством, уместившимся целиком в маленькой подковообразной бухте и прославившимся на весь мир не этой бухтой, не этими кактусами, не этим земным раем, а практически неразличимой точкой на противоположном берегу миниатюрного мыса – точкой под названием «казино».

Слово «казино» не слишком будоражит мое воображение. Я чувствую себя искушенным человеком – ведь я видела ка-

зино в Висбадене и Баден-Бадене. Что же изменится, если увижу еще и казино в Монте-Карло? При всей моей склонности к нелепым авантюрам мысль сыграть в рулетку никогда не вызывала никакого энтузиазма. Может быть, такое безразличие – только скрытое чувство самосохранения, боязнь открыть в себе новую страсть? Так или иначе, но самой азартной в моей жизни была игра с нянькой в подкидного дурака, когда я, пятилетняя, отлеживалась из-за очередной ангины в постели. Я с удовольствием оставалась в дурачках, тем более что никто и не думал покушаться на заветные копейки, опущенные в прорезь гипсовой копилки... Но быть в Монако и не поглядеть на тамошнее казино было бы странно.

Путь к пляс дю Казино оказался недолгим. Но странно – то тут, то там среди яркой субтропической зелени виднелись рекламные плакаты с мертвенно-бледным женским лицом (напоминавшим больше всего родченковский фото-портрет Лили Брик на обложке поэмы Маяковского «Про это») с огромными черными глазами, с приоткрытым, словно для укуса, ртом, вызывающе кричащим экзотическими здесь, в Средиземноморье, печатными русскими буквами: «Удиви меня – если сможешь». Я шла по широкому бульвару, ежеминутно встречая взгляд этих огромных глаз, бросающих вселенной свой бессмысленный вызов.

Чем ближе я подходила к круглому, стеклянным куполом ниспадающему фонтану, замыкающему бульвар, тем теснее и многолюднее становилось вокруг. Самоуглубленно-со-

средоточенные японцы, подстриженные под одну гребенку китайцы, гортанно-визгливо окликающие друг друга, оглушающе-громкие испанцы, отрывистая речь немецких туристов, напоминающие жонглеров непрерывно жестикулирующие итальянцы – какое-то вавилонское столпотворение всех жаждущих запечатлеть на снимке лежащую внизу, словно на ладони, площадь с рулеточным овалом зеленого газона посреди, вдоль которого, церемонно совершая круг почета, подъезжают, паркуются и отъезжают шикарные авто, проплывая мимо зала Гарнье, «Кафе де Пари» и самого казино «Монте-Карло».

От солнца, от цветов и пальм самых разных видов, от шума фонтана, от журчания воды в изумрудных заводях прилегающего к бульвару Японского сада, от морского горячего воздуха, от смешения всех людских типов и наречий возникает странная эйфорическая легкость, почти сводящая с ума беспечная и беспричинная веселость... Или оттуда, из казино, распространяется на нас общий дух – молодящего душу азарта, мечты, восторга от минутного успеха?.. Что особенного в этой площади, в выстроенном Гарнье здании, помпезно соединившем в одно целое что-то вроде дворца и обычного парижского вокзала конца XIX столетия со столь свойственными эпохе высокими куполами-кровлями, напоминающими то ли о парижской Всемирной выставке, то ли о венских оранжереях?.. Конечно, и в Париже у созданной тем же Гарнье Оперы всегда снуют толпы туристов, но там не витает

этот обжигающий «веселящий газ», завораживающий, магнетизирующий, парализующий все твои чувства, кроме одного – опьяняющей жажды неизведанного блаженства игры с судьбой. Вероятно, эта жажда заставляет спешить туда, к казино, аккуратно причесанных, в белых рубашках, темных костюмах и галстуках, столь странных в тридцатиградусную жару, двух молодых людей с деловито-отрешенными серьезными лицами, говорящих на сразу узнаваемом в общей разноголосице русском языке...

Вслед за ними через Японский сад с его переливающимися нефтяной радугой неживыми, отлитыми из металла цаплями, застывшими над водной гладью среди склонившихся пальм, я спускаюсь к казино, к заполненному до отказа «Кафе де Пари», к залу Гарнье. Я даже намереваюсь заглянуть внутрь, посмотреть, хотя бы краем глаза, как там и что, но, вспомнив, что подобный опыт уже делала в Баден-Бадене, поднявшись на несколько ступеней, поворачиваю обратно. Перешагивая через выведенное золотой краской на покрывающей пол дорожке магическое слово из шести букв – Casino, я слышу позади чей-то патетический вопль.

– *Avanti! Vivere o morire! Ciao! Ciao!*⁸ – кричит, театрально размахивая руками, поджарый итальянец лет тридцати с рассыпавшейся по плечам пышной черной гривой и в черном, похожем на смокинг, костюме, картинно раскланиваясь и с комичным трагизмом посылая в публику воздушные по-

⁸ Вперед! Жить или умереть! Чао! Чао! (*итал.*).

целуи. Сделав пируэт, он, словно Фортинбрас с телом Гамлета, торжественно маршируя, вступает под своды казино под одобрителный смех оценившей шутку толпы.

Весело и мне. Зал Гарнье уже не кажется излишне помпезным, скорее весело-нарядным, как праздничный торт на широком блюде площади, искрящийся под палящим не осеннему солнцем: продолговатая мармеладно-зеленая крыша, зажатая четырьмя маленькими башенками, украшающие бежевую плоть скульптуры из позеленевшей бронзы и белые кружева барельефов, обрамляющие балкон и оконные проемы. Я обхожу здание справа, чтобы полюбоваться и сфотографировать его с другой стороны. Да, это настоящий свадебный торт – руки тянутся отрезать себе кусочек нежного бисквита с завитками сливочного крема, с безе декоративных ваз, шоколадом колонн и россыпью разноцветных цукатов мозаики. Здесь удивительно безлюдно, хотя так восхитителен вид, открывающийся на море – темное, густо-синее под безоблачной светло-лазоревою гладью неба. Берег далеко, не виден, и поэтому кажется, что небо, море и даже их голубизна рождаются из лона зелени – буйной, нарядно-яркой, затопляющей кругом всё и вся.

Объектив упрямо отказывается вместить здание целиком. В поисках оптимальной для съемки точки я постепенно отхожу все дальше – сначала к краю площадки, затем на несколько ступеней вниз по широкой белой лестнице, ведущей к парку над морем. Все без толку – на экране то правый,

то левый край здания уничтожен. Но это только подстегивает мой фотографический азарт, и я решаю спуститься до конца и с нижней площадки попробовать еще раз. И правда – отсюда зал Гарнье вписывается в кадр идеально.

«Что бы еще снять?» – гадаю я, скользя взглядом по уже отснятому морю, широким листьям банановых пальм, по белым перилам ограды, и упираюсь глазами в стоящую метрах в тридцати от меня одинокую фигуру. Сухопарый высокий мужчина, склонившись у балюстрады, смотрит куда-то вниз, в парк. «Может быть, попросить его снять меня здесь, у зала Гарнье?» – колеблюсь я, видя, что фигура, выпрямившись, начинает двигаться в мою сторону. «Удобно ли?» – продолжаю я сомневаться, к тому же не очень понимая, на каком языке надо просить: Бог его знает, кто он – француз, немец, итальянец, говорит ли он по-английски. Я только догадываюсь, что он немолод, потому что передвигается он как-то странно, очень медленно и неуверенно. Возможно, он уже в том возрасте, который дает право вообще ничего не смыслить в современной технике...

Задумчиво опять поднимаю на него глаза, и мне становится не по себе. Он идет, пружиня каждый шаг, будто механически заведенная игрушка, и смотрит вперед, прямо на меня, мертвенно-остекленелым, слепо-невидящим взглядом. Худоба, впалые щеки, обвисшая на костлявом теле полосатая рубашка и болтающиеся темные брюки заставляют сначала принять его за глубокого старика, но ему вряд ли больше

шестидесяти – гладко прилизанные, словно намазанные жиром волосы неопределенного пегого цвета едва поседели на висках. С каждым новым шагом его руки неестественно медленно приподнимаются все выше, как крылья у птицы, собирающейся взлететь, и я с ужасом сознаю, что они тянутся в мою сторону. «Маньяк», – с быстротой молнии проносится в сознании, и я бросаю беспомощный взгляд вбок, к залу Гарнье, – но ни здесь, на площадке, ни там, наверху, никого нет. Я инстинктивно начинаю пятиться к лестнице, не решаясь выпустить его из поля зрения, отвернуться и побежать, словно встретиться лицом к лицу не так страшно, как получить удар в спину. Между нами остается уже метров десять, когда мой преследователь, так же неотрывно глядя на меня тупо-стеклянными глазами, хватается одной рукой за грудь, а другую неправдоподобно широко выбрасывает в сторону и, качнувшись, словно маятник, из стороны в сторону, неловко, по-пингвиньи растопырив ноги, поворачивает обратно и замирает. «Может, человеку просто плохо с сердцем», – озаряет меня, и я полубессознательно делаю шаг обратно. Тем временем, очнувшись от столбняка, он осторожно опускает руки и, пошатываясь, будто на шарнирах, плетется назад к балюстраде. Я делаю еще один несмелый шаг ему вслед, не уверенная – нужна ли ему помощь и не помрет ли он сейчас тут, прямо у меня на глазах. Он судорожно, словно от колики, сжимается, склоняясь вниз, и я собираюсь уже бежать к нему на подмогу, когда замечаю, что он вовсе не падает. Нет,

он что-то разглядывает там, внизу, на уровне перил. Внезапно он пружинно распрямляется, разворачивается и начинает вновь надвигаться на меня. Ничего не понимая, снова видя перед собой эти пустые, как бы повернутые внутрь зрачки, я возвращаюсь к мысли о маньяке. Жалость и сочувствие мгновенно испаряются, и я поспешно принимаюсь пятиться назад, к лестнице, проклиная себя за то, что не дала деру, пока он совершал свой странный маневр. Я чувствую каблук первой ступеньку в тот момент, когда долговязая фигура передо мной опять застывает, как вкопанная, примерно на том же месте, что и прежде, делает странный трюк руками, разворачивается всем корпусом к морю и замирает. От изумления я тоже каменею. «Сумасшедший, что ли?» – недоумеваю я, видя, что его пружинящие ноги в очередной раз направляются к балюстраде. На всякий случай я поднимаюсь на пару ступенек и, чувствуя себя уже более-менее в безопасности, приостанавливаюсь, но теперь уже из какого-то почти праздного любопытства. Странный субъект снова склоняется у перил и через пару секунд возобновляет свой нелепый ритуальный танец до середины площадки с тем же размахом рук, с тем же поворотом на 180 градусов и последующей стойкой-столбняком. «Что за чушь?» – думаю я. Я пытаюсь определить, что притягивает его к балюстраде, но только отсюда, со ступеней, наконец-то различаю его цель, и мне вновь делается не по себе, но иначе, чем в первые минуты. Там, внизу, сливаясь с отбрасывающими тень каменны-

ми балясинами, таится треножник-штатив с маленькой фотокамерой.

Вот, значит, что... Он фотографирует сам себя... И не видит ничего кругом, потому что считает шаги и секунды... Вот отчего он останавливается примерно на одном и том же месте, оборачивается, замирая в столбняке, – ждет, когда сработает автоматика и камера сделает кадр... Вот зачем он выбрасывает руку вверх – на фотографии она будет указывать на этот свадебный торт Гарнье.

Я стою и наблюдаю за ним. Теперь я знаю, что он меня не видит или не обращает никакого внимания. Для него существует только он один, да еще его верный маленький механический друг. Он продолжает хождение взад и вперед – видимо, ему не удастся что-то окончательно рассчитать. «Болен ли он психически? Или такова степень его самовлюбленности? Или он так одинок, и так давно одинок?» – думаю я, поднимаясь по лестнице, так и не дождавшись конца фотосессии.

И вот уже без жалоб, без упреку
Утратив все, приветствую судьбу...
Быть до конца так страшно одиноку,
Как буду одинок в своем гробу –

всплывают в сознании тюгчевские строки, может быть, и не вполне точно.

Наверху, у зала Гарнье, все по-прежнему. Только недавно

мне было здесь легко, весело, задорно и молодо, а сейчас на душе непоправимо-минорно, опустошенно и уныло. Я обхожу окаменелый остов-торт, маленький сквер за казино. Впереди, под сенью беломраморной ниши, притаился небольшой пруд, над черной поверхностью которого, как бильярдный шар, серебрится маленький глобус, отражающий своей полированной стальной поверхностью все вокруг – казино, зал Гарнье, небо, пальмы, колеблющийся внизу водоем, мою крошечную, искаженную, как в кривом зеркале, фигурку у заводи. При малейшем движении фигурка начинает меняться – вытягиваться, смешно толстеть, мгновенно худеть, метаться в разные стороны. Я достаю фотоаппарат и привычно начинаю наводить объектив, но вдруг мои руки опускаются.

«Боже мой, что я делаю?!» – с какой-то брезгливостью сознаю я. Я пытаюсь сфотографировать себя, как тот человек, там, внизу... Нет... нет... Я не буду этого делать, не буду!..

Я прячу фотоаппарат, а противный внутренний голос, передразнивая и ломаясь, визгливо вторит: не буду... пока не буду... пока... пока...

Я иду мимо праздных посетителей «Кафе де Пари», сидящих за своими уютными столиками с блаженно-отрешенными лицами, мимо припаркованных у казино разноцветных лимузинов, мимо отлитых из сиренево-голубого металла цапель в Японском саду, мимо разноголосой толпы туристов у рассыпающегося хрустальным куполом фонтана, мимо рекламных плакатов с лицом Лили Брик и странной русской

просьбой: «Удиви меня – если сможешь». Потом я сяду в автобус, чтобы выйти на пляс Сен-Дево у маленькой часовни и кануть в тоннеле, ведущем к вокзалу, который поглотит меня и растворит в своей мраморной черной утробе вместе с сотнями других, таких же, как я, странников, ищущих свою дорогу назад – к покою, к тишине, к самому себе.

У мирного порога моего...

Нас огорчает и ужасает эта невозвратность однажды утраченного счастья, однажды полученной жизни, однажды приобретенного друга или милой сердца: но уничтожьте эту возможность в одну минуту потерять данное целую жизнь — и где же величие и святость жизни, где доблесть души, где истина и правда?..

В. Б.

...не есть ли печаль то единственное на земле, чем человек действительно обладает?

В. Н.

Когда я думал, что учусь жить, я учился умирать...

Д. М.

Слепые

Кто так слеп, как раб Мой...
Ис 42:19

В детстве я очень хотела иметь собаку, но, увы, моя бабушка была против этой затеи. Мама, наверное, согласилась бы, но последнее слово всегда было за бабушкой, а она ка-

тегорически возражала: уже были и птички, и рыбки – хватит. Было очень грустно и как-то обидно, но бабушкино слово было для нас закон. Когда мне, пятилетней, нянька баба Шура принесла в утешение кота Рыжика, это было, конечно, счастье, но... но все-таки это был котенок, а не щенок.

Помню и теперь, как лежала в постели больная очередной простудой, а она, заглянув в мой угол, выгороженный в большой комнате книжными шкафами, украдкой из-под передника вытащила его и сунула прямо на пододеяльник. Он был совсем крошечный, даже не столько рыжий, сколько еще какой-то розово-молочный, лапы трогательно разъезжались на белом полотнище. Я прижала к себе маленькое тельце – его сердце мелко и часто стучало в мою ладошку. Я задышалась от радости. Это будет мой, мой собственный кот, и его будут звать Рыжик – решила я тут же, сомнений не было. И Рыжик остался. Он рос, ел за обе щеки рыбу хек и через год, став толстым и гладким, уже не обращал на меня никакого внимания. Потом он куда-то внезапно и бесследно исчез. Было жаль, но не так чтобы особенно. Позже я узнала, что бабушка попросила одну из наших соседок забрать его к себе на работу.

Впрочем, такова была участь почти всех последующих моих котов.

Итак, я снова осталась одна. Конечно, впечатлений хватало и так – я пошла в школу. Школа была близко. Школа была почти своя – там учились мой дед (тогда это была классиче-

ская гимназия), моя тетка, моя мама, – но все-таки это был уже совсем другой мир, пока еще абсолютно неведомый. Я обожала свою первую учительницу Галину Ивановну, бегала встречать ее перед уроками и даже посвятила ей первые стихи. Стихи были длинные и почему-то с трагическим финалом, который не забылся и по сию пору:

И учительница ходит
Между парт – одна, одна...
И никто ей не поможет
Никогда и никогда!

Стихотворение это я старательно переписала на листок и подарила своей музе. Изумление ее я, конечно, приписала силе собственного поэтического дара, в котором нисколько не сомневалась.

Когда я пошла в первый класс, то до школы можно было дойти прямо по нашей же улице – наш квартал упирался в Пушкинский сквер, за которым стояла школа. Миновав три соседних дома, я оказывалась в этом скверике, усеянном осыпавшейся желтой листвой каштанов, и, набирая в карманы блестящие каштановые гольши, только что вылупившиеся из колючих скорлупок, мчалась мимо Пушкина (в сквере стоял его бюст) прямо в школу. Если я прибегала слишком рано, я поднималась по лестнице в тот коридор, где был школьный музей, и, став на цыпочки, разглядывала старую гимназическую фотографию: там среди других выпускников

1912 года был и мой дед. Я читала его имя «Али-бек», и это доставляло мне массу удовольствия. Дома хранились фотографии деда – те, что уцелели после его гибели в 1937 году, но такой не было.

Я любила рассматривать эти домашние старые фотографии, слушать рассказы о том, как жили раньше, до гибели деда и до революции, когда был царь и в лавочке старика-перса, находившейся на нашей же улице, но только не в ту сторону, где школа, а туда, в сторону гор, на углу следующего квартала, можно было за четверть копейки купить такую игрушку, которая на вид совсем как обычная бумажка, а бросишь ее в простую холодную воду – и она вдруг превращается или в цветок, или в лебедя, или еще во что-нибудь. Мне страшно хотелось иметь такую бумажку и ужасно жалко было, что уже нет ни старого перса, к которому бегала бабушка, когда была девочкой, ни его лавочки, полной всяких занимательных вещиц... Не знаю, что больше производило на меня впечатление – таинственная бумага или те четверть копейки, которые показывала бабушка, доставая шкатулку с разного рода монетками. Это были старые деньги, те, которые сохранились с тех времен. И вот там, среди разного размера монет, иногда очень больших, с портретами каких-то царей, и лежал малюсенький медный кружочек – на одной стороне его была нарисована то ли двухголовая птица, то ли всадник с копьем, а на другой так и было написано – 1/4 копейки. Я смотрела на медный кружок с неподдельным уважением, раз

на него можно было купить такую замечательную вещь. Теперь на четверть копейки что купишь? Конечно, на копейку можно купить целый коробок спичек и устроить не один костер в саду, но костер – это костер, а волшебная бумага – это совсем, совсем другое. Это меня очень огорчало.

Почему же тогда было лучше, чем теперь? А то, что тогда было лучше, было явно. Иначе и бабушка не вспоминала бы о том времени столь часто: о том, какая строгая была у нее мама и какой мягкий папа, мой прадедушка, какая замечательная была его сводная сестра, тетя Настя, как девочкой забиралась к ней по вечерам на кровать слушать рассказы о далекой юности – о кавказской войне, о немирных чеченах или о том, как во время страды родила прямо в поле своего первенца и сама принесла в станицу. В эту станицу бабушка с братьями и сестрами приезжала гимназисткой на каникулы летом. Осенью оттуда к ним в город присылали целую подводу арбузов. И я представляла и эту огромную подводу, и целую гору из зеленых полосатых шаров, и саму тетю Настю, сухую высокую старуху в белом платке, – такой я ее видела на фотографии, и свою строгую властную прабабушку Вассу Захаровну, и ее старую сухонькую мать в чепце с поджатыми губами и удивительно не по-женски твердым, решительным подбородком, и всех детей прабабушки – всех бабушкиных братьев и сестер, и прадедушку – такого ласкового, с лучистыми морщинками вокруг улыбочивых глаз, и его братьев, и родню в казачьих папах с галунами.

Я любила эти старые, желтые, иногда еле видные фотографии, где мой прапрадед с Георгиевским крестом уже казался скорее тенью человека, чем реальным его изображением. Любила их лица, их молодость, бабушкину ладную, стройную фигурку и смотрящие на нее с такой нежной влюбленностью глаза деда, гибкого, высокого, кудрявого, еще в гимназической форме. И другие фотографии, уже тридцатых годов, когда они ездили погостить в Дагестан, на Гуниб, где когда-то властвовал Шамиль, и еще более поздние, предарестные, где он, наголо выбритый, без единого волоска, с головой, словно вылепленной в мастерской скульптора, в белом летнем костюме, чуть отяжелевший, но попрежнему статный, напряженно смотрит вперед среди разновеликой стайки своих малышей, кучкой сбившихся у его ног и у ног бабушки, улыбающейся так спокойно, мягко, безмятежно. Я знала, как все они жили, как встречали праздники детьми, в какие игры играли, как шутили, как ходили в театр или на гимназические балы, я впитывала эти рассказы всеми порами души, я жила ими, я любила ту жизнь, и она казалась мне такой чистой, такой светлой, такой идеальной...

Когда закрывался толстый старинный альбом с фотографиями, когда прятались в шкатулку старые монетки и драгоценные четверть копейки, мир как-то тускнел и было странно, что бабушка уже не прелестная барышня, за которой все ухаживают наперебой, а малюсенькая сгорбленная и седая, вся в морщинках, с толстыми выступающими венами на на-

труженных руках, в обычном халате – фланелевом или вельветовом, вишневом, в рубчик, и в фартуке с крест-накрест завязанным серым шерстяным платком. И я не знала, какую бабушку я любила больше – ту, прелестную и молодую, или эту, старую и сторбленную. Вернее, я любила их обеих – и ту и другую. Это было тем более просто, что я знала, что бабушка меня очень любит. Да, она строгая. Но разве могло быть по-другому, раз она – бабушка и старше нас с мамой? «Нужно помнить не о том, что хочешь, а о том, что надо», – говорит бабушка. Надо быть воспитанной, умной девочкой, хорошо учиться, покорно сносить каждое утро, стоя перед зеркалом, как железным гребнем разрезают надвое непослушные кудряшки, расчесывают и заплетают в тугие до боли косички, которые так хорошо, так приятно было бы взять и отрезать – только разве бабушка когда-нибудь разрешит?

Вот и собаку бабушка не разрешает. Говорит, что за собакой надо ухаживать, кормить, гулять с ней, убирать за ней, а я этого ничего делать не буду. Я уверяю, что буду, но бабушка почему-то не верит. «Два дня посмотришь, а потом надоест», – отрезает она. Я недоумеваю, откуда она знает, что будет так, а не иначе, ведь собака – это не птички и не рыбки, с теми действительно скоро становится скучно; собака – совсем другое: не игрушка и не очередная покидачка, как говорит бабушка (ну, в смысле поиграл-поиграл и кинул), а настоящий друг. Были же когда-то и в нашем доме собаки. Сколько я слышала рассказов и про Рябчика, и про

Мальчика, и про Бельчика. А почему теперь нельзя? Те жили во дворе, а не в доме. Ну, и моя бы жила во дворе, а я бы к ней во двор бегала играть. Потом, конечно, когда уроки все сделаю... Я периодически возобновляла переговоры, но бабушка была непреклонна.

Тем временем наступил второй год моей школьной жизни. Ходить в школу теперь приходилось совсем другой дорогой. Соседние дома снесли, улицу перегородили забором, за которым вырыли такой громадный котлован, словно шестиэтажный дом должен был весь уместиться там, под землей. Идти через стройку не разрешали. Мама брала меня за руку, и мы шли с ней вместе – она в университет, а я в школу. Теперь надо было пройти три квартала, чтобы обойти стройку и снова попасть к Пушкинскому скверу и к школе. Эта дорога, даже весенняя, с цветущими липами и акациями, казалась мне долгой и скучной, а ранец с каждым шагом все тяжелей. Дома я взвешивала его на старых, с зелеными русалками, поддерживавшими бронзовые желтые чаши, весах, и он мгновенно перетягивал все чугунные гири – от маленьких, фунтовых и полужуновтых (гири были еще с прабабушкиных времен), до самой большой, трехфунтовой, так что по моим исчислениям тянул на четыре, если не на пять килограммов. Поэтому на обратной дороге из школы, когда мама не могла меня встретить и я бежала домой сама за компанию с кем-нибудь из моих одноклассников, а чаще всего с Юркой, с которым мы были в самых замечательных отно-

шениях и даже вместе пытались летом на нашем дворе выдрессировать пойманную по соседству, в зарослях детского сада, ящерку и научить ее ходить на задних лапах, чего она делать почему-то абсолютно не желала, как мы ни старались, и в итоге, оставив нам на память коричневато-зеленый хвост, сбежала в жасминовый куст, где мы ее долго и тщетно надеялись изловить, – так вот, мы с Юркой Иодко протискивались между деревянным забором вокруг стройки и другим, каменным, отгораживавшим наш домашний маленький сад, а потом легко забирались по нему наверх. Наш забор был сложен из булыжника вперемежку с кирпичом, как и большинство старых построек в городе. Раствор, скреплявший кладку, отвалился, и можно было, как по лестнице, взобраться вверх по этим выбоинам. Но спуститься вниз было куда сложнее. В первый раз, открыв этот путь, мы только сбросили в сад ранцы, которые с грохотом рухнули в заросли папоротника с двухметровой высоты, но сами спуститься не отважились – с внутренней стороны сада забор был отвесным, а не пологим, как с внешней. Прыгать мы не стали, но помчались кружной дорогой к дому уже налегке. Вскоре мы придумали выход, и следующий штурм был уже вполне удачен. «Случайно» побродив по стройке, мы обнаружили металлическую сетку, которой пользуются, кажется, при бетонировании стен и которая вполне могла служить своего рода лестницей для наших не слишком тяжелых тел. В итоге мы приспособили ее так, что можно было легко спуститься

в сад. Сначала вниз летели ранцы, а затем мы по-обезьяньи сползали друг за дружкой по своей решетке. Пара минут – и мы дома. Юрка жил на нашей же улице, в следующем за бывшей лавкой старика-перса доме, и ему так тоже было ближе, чем вкруговую. Свой способ попадания домой мы хранили в тайне, полагая, что бабушка не может догадаться, откуда это мы вдруг беремся, словно с неба, в запертом изнутри доме. Но, судя по тому, что она действительно никогда нас об этом не спрашивала, секрет наш был ей хорошо известен.

Стройка шла полным ходом, и в один прекрасный день проход между заборами ликвидировали, на наш старый забор водрузили колючую проволоку и нашему лазанью сам собою был положен конец. Но мы огорчались недолго. Выяснилось, что теперь можно идти домой и прямо через стройку. Котлована уже не было, из земли вверх тянулись бетонные конструкции, и через ворота напротив Пушкинского сквера можно было по накатанной тяжелыми строительными машинами щебенке выйти к воротам на нашу улицу, прямо у дома. Взрослых сторожа через стройку не пускали, а на нас смотрели сквозь пальцы, столь же равнодушно, как лев на запрыгнувшего в его клетку воробья. Пользуясь этой снисходительностью, мы выныривали ровно через пять минут после последнего урока у родных ворот. Иногда мы еще развлекались во дворе, играли в классики, кувыркались на железной лестнице, ведущей на чердак нашего одноэтажного дома, просто сидели и болтали на одной из лестничных пе-

рекладин, прежде чем идти по домам обедать и делать уроки. Так длилось до тех пор, пока мы не поссорились.

Причина ссоры была, как и полагается, весьма ничтожна, но в итоге мы не просто разругались, – Юрка меня взял и укусил. То, что он именно укусил, меня поразило больше всего – он же человек, а не животное, а тут взял – это было уже весной – и укусил в руку, выше локтя, причем до крови, так что меня только частично спас рукав моего коричневого школьного платица. От изумления я даже не заплакала. Мы сидели с ним на нашей любимой лестнице, я смотрела на его круглую, с вострым носиком конопатую мордочку, на ровную ниточку угрожающе оскаленных белых зубов.

– Подонок, – сказала я, не слишком понимая смысл этого слова, и, скатившись вниз по лестнице, зашла в дом, громко хлопнув дверь: я-то думала, что это мой лучший товарищ!

Больше мы не дружили и не играли вместе, а вскоре он перешел в другую школу, чему я была несказанно рада. Каждый раз вечером или утром, раздеваясь или одеваясь, рассматривая заживающие ранки, которые бабушка мазала йодом, я вспоминала эту ровную ниточку зубов и колючие злые глаза. «Подонок», – шептала я про себя, думая, что гадкий шрам останется на всю жизнь. Но шрам исчез, а когда меня, многие годы спустя, уже студентку, окликнул по имени невысокий незнакомый парень, чуть курносый, с пышной челкой светлых, в рыжину волос, я никак не могла до конца поверить, что этот обрadowавшийся мне человек и есть тот самый

Юрка, закадычный приятель моего раннего детства. Я подивилась вслух, как это он меня узнал, и все время ловила себя на том, что не могу отвести взгляда от его ровных белых зубов в розовой рамке широко улыбающихся губ. Мы мило перекинулись несколькими словами, и больше я его никогда не встречала.

Итак, с Юркой было покончено. Это было, естественно, грустно, но не беда. У меня был еще один приятель (с девочками я никогда не умела дружить) – он тоже был конопатый и еще более рыжий, почти в медный цвет. Мы сидели вместе за одной партой, и я даже полагала в первом классе, что потом когда-нибудь выйду за него замуж, о чем не могла вспоминать без улыбки в старших классах, поглядывая на моего соседа, – мы так и просидели с ним рядом за партой почти все десять лет, чтобы потом легко и без сожалений расстаться навсегда после выпускного бала. Но этот не был столь бесшабашен, как Юрка, с ним немислимо было дрессировать ящерицу или лазить на чердак. Этот был прагматичен и разумен, и когда он приходил делать вместе со мной уроки и мы сидели рядом за маминым письменным столом, перешедшим в дальнейшем в мое полное пользование, я с некоторым недоумением смотрела, как он, сделав пометку, вырывает уже исписанный почти полностью лист с домашней работой, чтобы старательно переписать все заново.

– Может, лучше подчистить бритвой – я так всегда делаю

и почти совсем незаметно получается, – сочувственно предлагала я при новой описке.

Но лист безжалостно вырывался, и медная челка упорно нависала над новой страничкой в линейку.

Я смотрела в окно – на улицу, на солнце, на зеленый газон. Конечно, я тоже была отличница, но все-таки это было как-то скучно.

Той же весной, когда мы поссорились с Юркой, у ворот стройки, выходящих к Пушкинскому скверу, появилось странное сооружение: большой ящик от каких-то стройматериалов был поставлен на бок у самого домика сторожа.

– Видала, – спросила меня однажды Райка, соседка по двору, – сколько сука на стройке щенков наплодила?

– Щенков?! – замерла я.

Райке можно было верить, несмотря на то что она и была «инвалид», как она говорила, показывая при этом руку с отрезанным на заводе пальцем, несмотря на то что она и была вечно «на двенадцатом месяце», как смеялась бабушка, – столь велик под всегда куцым халатом казался ее живот в сравнении с дистрофичными ногами и руками. Однако, несмотря на живот и на отрезанный палец, Райка была знакома с половиной города и всегда в курсе последних событий. Хотя, с моей точки зрения, она была уже очень старой (ей было тогда, вероятно, лет около сорока), я была с ней в большой дружбе и на «ты», любила заходить в гости, когда отсутствовал ее сынок – противный худой мальчишка

лет на пять старше меня, игравший в ножички, куривший и уверявший, что уже повесил в сарае не одного кота. «Хочешь, можешь пойти посмотреть», – снисходительно предлагал он. «Могу и твоего повесить, если хочешь», – заверял он меня, пока у меня был кот. После таких предложений я старалась как можно скорее убраться восвояси и стороной обходила Райкин сарай. Зато, когда ее дорогого Казика не было, я с удовольствием прибегала к Райке. Особенно привлекало меня рассматривание у нее на буфете разных керамических фигурок животных и людей. Однажды она даже подарила мне одну из них – маленького хорошенького тигренка. «Все это мещанство», – сказала бабушка, когда я гордо принесла его домой. «Не выкинет ли она его?» – засомневалась я, ставя его на полочку рядом с венецианской вазочкой, найденной еще при жизни деда на раскопках в Дагестане и чудом уцелевшей после всех семейных катастроф. Бабушка тигренка не трогала, но, когда Райка предложила еще и другую фигурку, я дипломатично отговорила, что буду лучше приходить в гости и играть. Взять второго тигренка, конечно, хотелось, но я не была уверена, потерпит ли бабушка сразу двух или нет.

Вообще-то Райка привлекала меня во многих отношениях, а не только заветными фигурками на буфете. Например, у нее можно было сидеть и есть квашеную капусту, вынимая из банки пальцами, и засовывать прямо в рот – дома этот способ вряд ли бы одобрили. Но Райка делала так сама, и это

выглядело столь аппетитно, что дело тут было уже даже не в самой капусте. Потом я уважала Райку за то, что ее мать застрелила из ружья человека. Он ее обругал, а она пошла, взяла ружье мужа и застрелила его. Райка сама об этом мне не рассказывала, но я знала это от бабушки. Райкина мать представлялась мне героиней какого-нибудь из приключенческих романов Майн Рида, которые мне читала вслух мама. «Если бы у меня было ружье, я бы тоже застрелила человека, который меня оскорбил», – была убеждена я. «Или в воде утонет, или в огне сгорит – такая егоза», – укоризненно качала головой бабушка. Не знаю, почему бабушка так думала. В дневнике у меня стояла большая красная пятерка по поведению, и вообще я была очень славная и послушная девочка. Так, во всяком случае, мне казалось.

В отличие от меня, Райка не ждала, когда у нее будет настоящее ружье, и сражалась любым оружием, попадавшимся ей под руку.

– Иди, иди сюда, – кричала мне другая Райка, «наша», а не Казикина, та самая соседка, благодаря которой исчезали один за другим все мои бедные коты, – иди, иди посмотри, что делают! А-та-та!

Я бежала через коридор в сенички и, отодвинув сбоку белую занавеску (явно подглядывать казалось все-таки не совсем удобно), прилипла носом к стеклу. Сражения у Казикиной Райки обыкновенно происходили с Юркиной Заирой. Заира была полная, вальяжная, статная, в длинном пестром

халате с копной чуть седеющих волос. Считалась она учительницей истории (правда, бабушка при этом делала какой-то странный жест, словно отмахивалась, – мол, та еще учительница). Муж ее Юрка – здоровый, толстый мужик – в сражениях прямого участия не принимал, но и сидеть просто дома не решался. Он то выбегал во двор, то забегал обратно в дом, то протягивал умоляюще руки к Заире, то пытался тоже кричать на Райку, но без особого энтузиазма. Рядом с Заирой Казикина Райка внешне проигрывала. Линялый халат еле сходиллся у нее на животе, торчащие в стороны, как спички, худые голые руки и ноги, растрепанные, какого-то невнятно-коричневого цвета волосы (Райка красила их чуть ли не луковой шелухой, как бабушка яйца к Пасхе) – все это, конечно, не производило должного впечатления. Но я твердо знала, что дело не во внешности. Нужны были подлинные бойцовские качества, и они у Райки были.

– А-та-та, а-та-та! – умирала от хохота «наша» Райка, стоя у меня за спиной и поглядывая в окно поверх белой занавески.

Действительно, это было захватывающе весело. Такого по телевизору не увидишь. Юрка, как водится, метался между обеими женщинами, готовыми сцепиться врукопашную. Обычно Заира предпочитала переругиваться с Райкой из разных углов двора, но сегодня предмет ссоры, видимо, был такой, что пора было от слов переходить к делу. Мусорное ведро, рассыпая, словно картечь, по всему двору очистки,

полетело бомбой с Райкиного порога в Заиру и с грохотом покатилося к ногам противницы. «Макурбонта», – только и успела пробормотать по-осетински «наша» Райка свое любимое присловье, всегда означавшее у нее высшую степень удивления, когда бойкая учительница истории с разметавшимися, как у фурии, волосами подхватила грохнувшееся об асфальт ведро и одной рукой метнула назад, в сторону врага.

Затаив дыхание, мы, зрительницы, – и большая, и маленькая – следили за его траекторией. Ведро, как камень из пращи, стремительно летело в Райку, и, казалось, уклониться ей не удастся, хотя она с несколько излишней поспешностью и попыталась пуститься наутек вверх по ступенькам, в дом.

Джик – ведро зависло на мгновение в воздухе, завертелось волчком и вдруг повернуло обратно и аккуратно приземлилось на Заиркину голову, точно на голову снеговика, которого я мастерила прошлой зимой во дворе. Последовал дикий вопль, рыдания и саркастический хохот Казикиной Райки, гордой и победной поступью восходившей по ступенькам лестницы к себе в квартиру. Поверженная противница билась в истерике на асфальте среди очисток, и ее сотрясаемое рыданиями тело в пестром шикарном халате толстый Юрка напрасно пытался оторвать от земли и как-нибудь отволочить домой.

– Вот дуры, тьфу на них, – смеялась «наша» Райка, хитро подмигивая мне.

Я ликовала от восторга – ведь и на этот раз мы победили. Пусть сегодня Казикина Райка чуть было не спасовала, но проволока для белья все равно решила дело в нашу пользу: джик – и на голову. Прямо как в Испании – один к одному битва с быком (корриду я видела по телевизору).

Помимо бойцовских качеств, Казикина Райка привлекала меня и тем, что у нее в доме всегда был непрекращающийся ремонт. Она все улучшала и украшала, красила и белила, белила и красила. А значит, можно было все попробовать самой – и пол самой красить кисточкой, и смотреть, как она разводит в ведре цемент или известь и цедит ее через капроновый чулок в другое ведро. Да, дома не повозишь кистью из мочала по стене, обмакивая в густую, белую, словно сметана, известку. Заодно можно было узнать массу полезных сведений – и про краску, и про цемент, и про известку, и про кисть, ну и многое другое такое же жизненно важное.

Правда, как-то Казикиной Райке надоела вся наша с ней самодеятельность и она позвала мастеров. Те резали какую-то бумагу, что-то клеили, потом брызгали по стенкам из какой-то брызгалки, и, когда потом Райка с гордостью позвала меня показать, что вышло, оказалось, что в ее спальне на стене появилась настоящая картина. Остальные стены все были в мелких разноцветных пятнышках, вроде тех, что бывают на мраморе, а на этой – зеленый лес, и среди леса стоял олень. Я сначала изумилась, потому что никогда и ни у кого не видела, чтобы в доме на стене были лес и олень с

рогами. Разве где-нибудь во дворцах, хотя мама меня возила во дворец в Кусково, но и там я такого не видела. Я осторожно пощупала оленя пальцем. Палец не пачкался, как обычно бывало после побелки. Задумчиво глядя на оленя, на его ветвистые рога и на довольно улыбающуюся Райку, я не знала – одобрить или нет. В конце концов, если и не олень, то сама мысль рисовать на стенах мне понравилась, и я даже поделилась этим дома, но, как большинство моих идей, и эта оказалась не в бабушкином вкусе.

И вдруг такая новость:

– Щенята?!

– Э, куда смотришь – каждый день мимо ходишь и не видишь! Пошли покажу, – предложила Райка.

И мы пошли вместе.

В глубине громадного ящика на каких-то грязных тряпках лежала собака. Она лежала на боку, а возле нее, сладко почавкивая, теснились несколько щенков, еще совсем маленьких. Я села на корточки возле ящика, молчаливо созерцая это чудо.

– Что, нравятся? – спросил мужской голос за спиной. Это был сторож. – Ну, коли нравится, выбирай любого. А то скоро стройка кончится, а куда их девать?

Я только вздохнула и пожала плечами: легко сказать, выбирай, бери... Взять-то возьмешь, а потом бабушка велит нести обратно.

Сторож, присев со мной рядом, стал брать одного за дру-

гим и показывать мне. Он брал их за шкуру, как берут котят, да они и были похожи на котят – такие малюсенькие. Они висели в воздухе, беспомощно перебирая лапами, розовопузые, с какими-то блекло-голубоватыми бусинками глаз. К сожалению, мне они нравились все.

– Э, – сказала Райка, засовывая руку в глубь ящика, – смотри, какой бутуз. Видишь, это мальчик, – и, показав пальцем на крохотную пупочку на гладком розовом пузике, она положила мне щенка в руки.

Он был такой теплый, прямо горячий, шелковый, желтенький, с белыми перчатками на каждой лапке, и лапки были розовые, с маленькими розовыми пяточками – такой чудный, хоть плачь.

– Считаю этого щенка за нами, – деловито сказала Казкина Райка сторожу, – а пока пусть тут еще полежит.

И она подсунула его назад к матери.

Жизнь моя после этого дня сосредоточилась исключительно у ящика со щенками. Я останавливалась тут по дороге в школу и обратно и если бы не уроки, то, наверное, стояла бы тут часами. Меня пленяло все: как они смешно ползают, как тыкаются мордочками в мать, как грозно пытаются рычать друг на друга, как испуганно пищат, когда мамаша стряхивает их с себя, чтобы полакать какой-то баланды из алюминиевой плошки, как радостно они тянутся к ней, когда она возвращается, как она вылизывает их полусонные мордочки большим шершавым розовым языком.

Я не помню, как это произошло и почему – рассказывала я что-нибудь дома или нет, выпрашивала я или требовала, – и как вдруг так получилось, но мне однажды разрешили его взять. Конечно, были поставлены условия (о, я была готова на любые условия!) – чтобы был только мальчик (к счастью, мой избранник этому вполне соответствовал), чтобы жил во дворе и т. д. и т. п. Мало этого. Под присмотром бабушки сосед сколотил не просто конуру, а настоящий собачий дворец – высокий, на ножках, с круглым отверстием-входом и покатой крышей. Крышу покрыли толем, чтобы не протекала, внутрь положили всякого мягкого тряпья для тепла, бабушка выбрала миску, для того чтобы было из чего кормить, и, когда все было окончательно готово, мне наконец разрешили принести свое сокровище.

В тот момент, когда я пришла забирать Шарика – именно так незатейливо я его назвала, – мне казалось, что вся жизнь, весь мир замерли и следят за тем, как я иду по залитой солнцем щебенке и несу, прижав к груди, драгоценный мягкий комочек. Разве есть на свете человек счастливее меня – ведь у меня теперь есть собака, своя собственная собака!

Я положила Шарика в конуру. Конура казалась громадной – таким маленьким был ее обитатель. Он с трудом мог вылезти из нее и с еще большим трудом влезть обратно. Он смешно ковылял на коротких растопыренных лапках, почти вытирая пузом асфальт, жалко вилял куцым хвостиком и тихо повизгивал. Я просиживала с ним днями – благо насту-

пили летние каникулы, затаскивала его иногда тихомолком в наш сад, где он тонул совершенно в зеленой траве и, продираясь сквозь нее, уморительно тявкала.

Он рос, шерстка из шелковой превращалась в жесткую, тугую, чуть вьющуюся, мордочка из круглой вытянулась в довольно острую, напоминающую чем-то лисью, водянисто-голубоватые глаза стали веселыми и карими, только лапы по-прежнему были чуть кривоватые, но зато в каких очаровательных белых штанишках! Я фотографировалась с ним, я рисовала его портреты, я дала ему и фамилию, и отчество – как и полагается всякому живому существу, под портретом так и было написано: «Шарик Рябчикович Белкин» (как очевидно, отчество и фамилия пришли к нему не от прямых предков, а от прежде обитавших в доме собак).

Из маленького игрушечного щенка вырастал умный, ласковый пес, с хозяйской рачительностью защищавший наш двор от всех случайных прохожих, которых его залиvistый лай и белые мощные клыки заставляли смущенно ретироваться. Вечерами, когда мы выбирались с бабушкой на крыльцо подышать воздухом, он растягивался у наших ног, чутко оберегая нас и предупреждая ворчанием о том, что кто-то появился на улице чужой.

Не помню, как завелся этот обычай, но незаметно для нас самих Шарик стал приходить смотреть последние новости по телевизору. Ровно в девять он протискивался в парадное, закрытое летним вечером лишь на цепочку, и, цокая по по-

ду когтями, входил точно когда бабушка садилась смотреть программу «Время». Он не лез вперед, а, напротив, вел себя предельно корректно, уткнув нос в лапы, тихо и внимательно следил своими карими глазами за фигурами на экране и, как только все кончалось в половине десятого, тут же вставал и добровольно, без всякого принуждения шествовал в прихожую и протискивался опять через дверь назад, на улицу. Если парадное почему-либо было заперто, то ровно в девять на улице раздавалось удивленное «гав», и я бежала открыть дверь. Скромно, но с чувством собственного достоинства он проходил к телевизору. «Пришел повышать политическую грамотность», – шутили мы, глядя на то, как он внимательно вслушивается в последние решения Политбюро или выступления Леонида Ильича Брежнева. И действительно, кроме программы «Время», Шарика почему-то ничего не интересовало.

Он прожил у нас два года и вдруг пропал.

– Украли, – сказала мне Казикина Райка, вытирая подолом фартука глаза. – Говорят, из пятого номера мужик в машину его забросил и увез к себе в село: мол, хороший сторож будет. И правда, хороший сторож был. Никто во двор зайти не мог, а теперь – ходи кто хочет.

Я тупо слушала ее причитания. Двор был пуст. Пуста была конура. В миске перед конурой была налита никому теперь не нужная вода. Вот и все, словно и не было никогда. Я выплеснула воду в жасмин. Ну что ж, если забрали в село, то,

может быть, и ничего. Главное, что не убили, не отравили. Я вспомнила веселые, умные карие глаза, белую с желтыми подпалинами морду, и губы мои дрогнули. Какие же все-таки злые эти люди!

Но мы совсем недолго жили без собаки. Неожиданно Райка откуда-то принесла маленького щенка. Это была девочка, черненькая, в белых сапожках, со светлой шерсткой, словно припудренной на щеках и вокруг глаз. Динке (так ее называли) достались опустевшая конура и никому не нужная миска. Хотя я нарисовала ее портрет и положила под стекло рядом с портретом Шарика (под портретом стояло имя – Динка Шариков-на Белкина), хотя я к ней вскоре привыкла и полюбила, но все-таки уже не той первой любовью, которой я любила своего Шарика. Тем более что Динка была скорее не моя, а Райкина собака. Та ее купала и вычесывала, а я только наблюдала и помогала, та вылавливала у нее блох, запускала холодными зимними ночами к себе в квартиру, а я только изредка приносила ей из дому какую-нибудь еду. И Динка хорошо знала, кто ее хозяйка. Она сидела у Райкиных ног, высоко и горделиво подняв острую мордочку с острыми ушками, внимательно выслушивала все, что Райка говорила ей и по-русски, и по-осетински, бегала на стройных тоненьких лапках, распутив пышный, как веер, хвост, за Райкой в магазин и обратно. Меня, правда, она вполне признавала и, завидев, сразу падала на спину, протягивая ко мне свои тонкие, в белых сапожках, лапки и подставляя живот,

чтобы его почесали. Это было для нее высшее удовольствие. Она умильно улыбалась, щурила угольные глазки и в благодарность иногда лизала мне пальцы. Оказалась она не менее чутким и неумолимым сторожем, чем Шарик. Правда, у нее открылся и иного рода талант.

Кто-то из соседей привез куриное семейство. Петуха скоро зарезали. Я с ужасом смотрела в окно, как он, уже с отрубленной головой, кругами метался по двору, разбрызгивая кровь во все стороны. Но куры неслись еще долго и после его страшного финала. Меня, как маленькую и юркую, часто просили залезть в куст жасмина посмотреть, не снесла ли курица там новое яйцо. Яйца иногда бывали еще теплые, в пуху и помете. Однако, как выяснилось, не только я умела их находить. Все чаще вместо яиц во дворе обнаруживались пустые скорлупки. Долго не могли понять, в чем дело, пока не увидели Динку с яйцом в зубах. Догадавшись, что добычу отбирать никто не собирается, она улеглась и на наших изумленных глазах, поместив яйцо между лап, осторожно выгрызла верхушку, а потом уже вылакала его содержимое, оставив в доказательство аккуратно опустошенную скорлупку. Она с такой грациозностью это проделывала, что я иной раз таскала ей яйца из холодильника, лишь бы полюбоваться ее аристократическим завтраком. Бабушка моим рассказам не удивлялась и в ответ рассказывала, что Рябчик точно так же лущил обычные семечки, что в самом деле было потруднее.

Через какое-то время вокруг Динки появилась целая стая поклонников – от здоровых лохматых псов до маленьких, кудлатых и тщедушных. Все они ходили табуном по нашему газону перед домом, периодически устраивая между собой очередную потасовку. А еще через какое-то время стало ясно, что Динка скоро ощенится. Женихи исчезли, зато сама она все более и более напоминала разбухший бочонок. Она уже с прежним азартом не гоняла забредших во двор кошек и не лаяла, задрав морду, на взлетающих с шумом с соседской голубятни белоснежных и желтых турманов, а отлеживалась где-нибудь в тени под жасмином. Я гладила ее толстый живот и прикидывала, сколько же там может поместиться щенят – два или три?

Как-то утром я застала во дворе Казикину Райку и бабушку. Они о чем-то совещались. Оказывается, Динка ночью ощенилась, но не в конуре и не под жасмином, а под Заиркиным домом, в подполье. Оттуда выбегала она на минуту поесть и снова забиралась назад. Надо было достать щенят, но как? Об этом они и совещались.

– Да ничего проще нет – залезу туда и принесу.

– Ты-то, конечно, залезешь, да как бы она тебя не цапнула.

– Меня? – И как это может бабушке прийти в голову такая странная мысль! У меня и сомнений не было ни малейших: я ведь саму Динку щенком нянчила.

Бабушка поколебалась, потом велела мне одеться потеплее (потому что в подполье и летом холодно, а уже осень) да

еще взять фонарь, чтобы голову не расшибить в темноте. Я быстро напялила куртку, схватила фонарь и нырнула в узкую щель под соседским домом. Тут даже для меня было низко. Согнувшись, я осторожно сделала первый шаг – фонарь высвечивал битые кирпичи, мусор, паутину. Глаза постепенно привыкали к мраку, я шарила фонарем вправо-влево, но Динки нигде не было. Наконец я нашла ее в самом дальнем углу. Я уселась рядом на корточки: какие маленькие и как их много – пять или шесть! Сразу и не унесешь. Я посмотрела на Динку: как она. Нет, в ее глазах-бусинках было полное спокойствие и умиротворение. Я погладила ее по холке, взяла в руки первых двух малышей и пошла в обратный путь. Так я вынесла всех. Когда я понесла последних, то и Динка пошла за мной во двор. Щенята беспомощно расплзались по асфальту, разноцветные и презабавные оттого, что они не только были еще совсем крохотные и неуклюжие, но и слепые – веки у них были словно склеены. Тот, которого я держала в руках, тыкался теплым тупым носом мне в ладонь и все пытался сосать то край рукава куртки, то мой палец. Пока взрослые смотрели на кучку щенят на асфальте, а я нянчилась с последним, Динка уселась рядом и довольно поглядывала то на нас, то на свой первый выводок.

– Надо ее запереть, – сказала бабушка.

– Запереть? – удивилась я. – Зачем?

Казикина Райка пошла к себе по ступенькам, открыла дверь в кухню и позвала. Динка минуту поколебалась, но по-

том покорно затрусилась вверх на зов хозяйки, однако все время поглядывая в сторону щенят. На пороге она вновь остановилась и обернулась, словно задумалась, стоит ли заходить, но Райка позвала ее из глубины так ласково, что она тут же скрылась за порогом. Где-то хлопнула дверь, потом вторая, потом Райка заперла и входную.

– Сейчас принесу чулок, а ты найди ведро, – сказала бабушка Райке.

И они разошлись в разные стороны – одна в дом, другая в сарай.

Я ничего не понимала. Какое ведро, какой чулок? Зачем все это нужно, когда есть готовая конура?

Райка вернулась со старым, мятым, из-под цементного раствора ведром и стала набирать в него воды из-под крана. Она поставила ведро у жасмина рядом с сараем, как раз когда бабушка вернулась, держа в руках капроновый чулок.

Мне стало не по себе. Я, кажется, наконец начала понимать, к чему идет дело, но я не могла в это поверить. Они были такие чудесные, эти щенята, и Казикина Райка так любила Динку, и бабушка – бабушка просто не могла. Нет, я не верила.

– Шла бы ты домой, – сказала бабушка.

Но я тупо стояла на месте. Мне хотелось закричать, но я только с трудом выдавила: «Что вы хотите с ними делать?» – увидев, что в растянутый бабушкой чулок Райка кладет одного за другим – комочек на комочек.

– Мы их будем топить. Разводить собак десятками мы не можем. Раздавать их все равно некому, да и кому они нужны, – сказала бабушка и завязала чулок в тугой узел.

Они так и лежали друг на друге, растопыбив маленькие лапки, разноцветные в прозрачном, туго натянутом чулке, и даже не пищали. Так же молча стояла и я, глядя на все происходящее, на то, как их опустили в воду и ушли.

Маленькая, я очень любила, когда мама готовила быстрое дрожжевое тесто. Муку, молоко и дрожжи замешивали в большой тяжелый шар, завязывали в полотенце и бросали в холодную воду. Я садилась на корточки у ведра и ждала, когда тесто всплывет. Сначала долго оно лежало на дне без движения, и казалось, что там и останется навсегда, но потом медленно начинали появляться пузырьки, и тесто, как бы оживая, начинало плавно двигаться вперед.

– Готово, готово! – радостно визжала я, когда шар появлялся на поверхности.

Шар доставали, делили на части, раскатывали и пекли из него вкусные, румяные пироги.

И тут было тесто – только иное, живое. И тут я не могла отойти от него, будто оно притягивало меня непонятной мне властью.

Взрослые ушли, но сделать то, что хотелось, все равно было нельзя. Я знала, что, если я их и выну, их снова бросят обратно в это ведро. Буду ли я плакать, кричать, биться в истерике – все это не имеет никакого значения и смысла. Их

участь решена раз и навсегда. Бабушка сказала, что будет так, и этого не изменишь.

Я и сейчас вижу, но только словно со стороны, потому что я вижу не только осыпавшуюся побелку на деревянных дверях сарая из неровно сбитых, разной толщины досок, не только длинные молодые боковые побеги жасмина с круглыми, чуть заостренными листьями с толстыми прожилками, не только это с выбоинами ведро в пятнах от серого цементного раствора и коричневой масляной краски, но и себя, в бумажных теплых колготках, собранных складками над ботинками, в вишневой стеганой куртке с капюшоном, отороченным коричневой меховой опушкой, с руками в карманах, потому что уже холодно на улице и руки мерзнут. Я стою неподвижно и неотрывно смотрю, как сначала вниз погружается брошенный в воду чулок, плавно опускается на дно, переворачивается, словно от удара, и начинает свое движение в обратном направлении вверх. Вот он всплывает, окруженный мелкими пузырьками, но всплывает не до конца, а так, что на поверхности оказывается лишь одна его часть. И я вижу маленького щенка, белолобого, с черными мягкими вислыми ушками, с розовыми полосками слипшихся век, с такими же розовым носом и лапками, которыми он обнимает лежащего там, под ним, уже утонувшего брата, а может быть, сестру. Его ноздри чуть колеблются, кажется, что он просто уютно спит на теплой подстилке, что нет натянутого до прозрачности чулка, нет этой пирамиды смерти. Но я знаю, что

мне нельзя спасти и этого, даже этого одного. Я смотрю на него и думаю о том, как он будет медленно умирать, как он будет постепенно коченеть в этой ледяной воде до утра, когда наконец приедет машина для мусора и их всех вместе в этом чулке швырнут туда, в кучу, вместе с очистками, рваными бумажками и прочим барахлом, и старый мусорщик в черной вонючей робе сгребет их погнутой лопатой в глубь машины, чтобы освободить побольше места для следующей порции мусора, который несут и несут в ведрах один за другим соседи нашего большого общего двора.

Я смотрю на его белый лоб, на будто сладким сном смеженные веки, на его маленький, почти игрушечный нос и думаю, что лучше пусть он умрет сразу – так будет лучше ему и мне: он не будет мучиться, а я буду знать, что все кончено. Я вынимаю руки из карманов, отламываю жасминовый прут потолще и опускаю его прямо на белый лоб. Он отдаляется от меня все глубже и глубже, мелкие пузырьки всплывают и лопаются на поверхности, но скоро они исчезают. Я опускаю прут – страшный чулок уже не всплывает, он ровной темной массой лежит на дне. Я ставлю прут к стене сарая и ухожу домой. Нет, я не плачу. Я чувствую, что плакать бессмысленно. Просто я чувствую себя убитой. Что-то холодное проникает в меня, холодное, как вода. Это судьба. Только я еще не знаю, что это называется так. Мне десять лет.

Динка долго искала щенков и так тосковала, что на следующий раз ей оставили одного – другие все равно роди-

лись мертвые. Ее материнскому восторгу не было предела. Малыш походил на маленького медвежонка и обещал значительно перерасти мать. Когда его забрали, Динка довольно быстро о нем забыла, тем более что у нее появился новый предмет для забот – дворовый котенок Маркиз, а в просторечии Мурзик. Мурзик был назван Маркизом недаром: на гладкой черной шкурке не было ни единого пятнышка, за исключением роскошной белой манишки на груди и белых туфелек на каждой из лапок. Динка вылизывала его, несмотря на некоторое его сопротивление. Он ел из ее миски и спал вместе с ней в конуре. Мурзик вскоре куда-то делся, но жизнь продолжалась – снова появился щенок. Были ли у него несчастные собратья, я не знала. Я выросла, и этот дворовый мир занимал меня все меньше. Уроков в школе становилось все больше и больше. Я возвращалась домой иной раз в пятом часу вечера, а еще надо было успеть со всеми домашними заданиями на завтра. Пока я шла через двор с тяжелым портфелем, Динка виляла хвостом, сидя на ступеньках у Райки-ной двери, улыбочиво скаля морду. Весной она растягивалась на солнышке у бабушкиных ног, когда та выходила посидеть во дворе со своим маленьким, почти детским стульчиком. Стульчик был совсем какой-то игрушечный, но и бабушка становилась с каждым годом все меньше и меньше. Теперь она уже не читала, как раньше, газет, а просто сидела, глядя куда-то вдаль или, напротив, облокотившись на локоть и понурившись, закрыв глаза ладонью. Она сидела

в своем вишневом вельветовом в рубчик халате, укутавшись в серый, сурового цвета шерстяной платок, неподвижно, а Динка перекатывалась с одного нагретого солнцем бока на другой. Иногда к ним за компанию присоединялся наш старый кот Тима, переброшенный к нам в сад через забор еще во время стройки Комитета госбезопасности – через тот самый забор, который мы с Юркой столь мастерски научились преодолевать в свое время.

Оказавшись в саду, Тима так безумно вопил целую ночь, что даже я при всей своей любви к кошкам побоялась утром к нему выйти. «Он не может оставаться там», – решила бабушка, и мама, взяв блюдце с молоком, покорно отправилась выманивать его вон. Он дико завывал и угрожающе урчал, но все-таки молоко его соблазнило. И, надрывисто воя, он ковылял за мамой сначала по саду, потом по коридору во двор, а оттуда на улицу, оставляя за собой кровавый след. То ли ему отрубили лапу нарочно, то ли он попал в капкан для хомяков, которые часто ставились и у нас, и в других соседних дворах, потому что, какие бы симпатичные они ни были, эти хомяки, они рыли норы в погреба, грызли купленную на зиму картошку, и их уничтожали нещадно, как злейших врагов. Дохромав до улицы, раненый умолк, получив свою порцию молока, а потом исчез, но, к нашему изумлению, ненадолго, потому что вскоре оказался снова в саду, но уже явно по собственной воле. Нарушитель был выведен на улицу и снова тем же методом – при помощи блюдца с молоком.

– Ну, только этого не хватало – еще и приучите, – строго сказала бабушка.

В сущности, так и вышло. Кот регулярно приходил и выходил вслед за блюдцем. Потом маме и мне надоели все эти церемонии и мы стали кормить его прямо в саду. Он ел и удалялся по дереву на чердак, абсолютно не интересуясь ничем иным. Но однажды я обнаружила его в бабушкиной маленькой комнате, на ее аккуратно сложенном одеяле. Я попыталась его снять, но он зашипел и выгнулся в дугу, так что я отступила. Оставалось пожаловаться бабушке. Она зашла, посмотрела, покачала головой, махнула рукой и ушла. Так постепенно он у нас и поселился. Его окрестили Тимофеем, но обычно называли просто Тимой. Тима приходил, прихрамывая и постукивая своей культяшкой, ел, спал на бабушкином красном байковом одеялке или просто у нее в ногах, когда она отдыхала, никогда никому, кроме бабушки, не разрешал к себе прикасаться и все мои попытки тут же карал очередной царапиной на руке. Я относилась к нему с долей почтения, потому что он не только покорила бабушку, но это был и первый кот в моей жизни, который упорно не позволял таскать себя поперек живота, тянуть за хвост, закатывать в трубочку уши, наматывать на палец усы и учить ходить на двух ногах. Всем другим моим котам эти забавы доставляли удовольствия не меньше, чем мне.

Бабушка выходила на улицу все реже и реже. Да и компания ее постепенно таяла. Тима однажды просто не вернулся.

Мы прождали неделю, но поняли, что напрасно: кошки уходят умирать подальше от людей. Динка, напротив, приползла домой, хотя и из последних сил. В боку у нее зияла громадная дыра. Она смотрела на нас, а мы на нее. Чем мы могли ей помочь? Мама вызвала ветеринара. Он приехал, чтобы сказать то, что мы видели и сами, – безнадежно. Он только спросил: усыпить или нет? Казикина Райка рыдала и гладила ее по морде. Динка лизала ей руку, хотя и с трудом.

– Если не усыпить, она будет мучиться еще сутки, – робко объяснила мне мама.

– Что ж, мы заплатим. Пусть усыпит, – ответила я и вышла со двора на улицу. Нет, я не хотела это видеть.

Динку зарыли у сарая. Райка вытирала подолом фартука глаза и причитала. Больше собак мы не заводили.

В один прекрасный день исчезла и Райка.

Месяца за два до этого город всколыхнуло митингами на центральной площади рядом с обкомом. На трибуне, где во время майских и ноябрьских демонстраций обычно стоял обкомовский первый секретарь, теперь был водружен гроб. Гроб на руках принесли люди из пригородного села. Они говорили, что их сельчанина убил ингуш. Народ начал стекаться отовсюду. Сначала просто кричали, потом начались выступления. Ораторы из толпы требовали то разогнать местный обком, то опять выселить всех ингушей, как при Сталине в 1944 году. Райкино любопытство не могло удовлетвориться той скудной информацией, которой делился при-

ательствовавший с ней кагэбэшный вахтер из стоявшего по соседству комитета безопасности, и она бегала поглазеть – благо от нас до площади была пара минут. «Сидела бы ты лучше дома», – говорила ей бабушка, когда Райка заскакивала домой перекусить и пересказать все, что видела.

Кое-что видела и я, глядя сквозь стекло школьного окна на Пушкинский сквер, где стянутые в город войска разбили настоящий бивак. «Наверное, вот так и было в гражданскую», – думала я, вспоминая бабушкины рассказы. Солдаты сидели на скамейках, лежали на плащ-палатках, а поварихи из школьной столовой выносили им поесть что-нибудь горячее. Та же картина была и перед окнами нашего дома, где на газоне, прямо у задних ворот комитета, сидели такие же озябшие и голодные солдатики. Прибегая с площади, Райка успевала наварить борща и вытащить им громадную кастрюлю вместе с ломтями хлеба. Все это мгновенно исчезало. При этом Райка рассказывала всякие ужасы: якобы на площади в ребят из нашего военного училища, поставленных в оцепление до прихода спец-войск, не только бросали камни, но и бритвами старались резануть – кому по лицу, кому в глаз. Так ли это было или нет, но в госпиталь напротив школы действительно привозили каких-то раненых с площади. Ходить в школу было страшно, но не ходить было нельзя: всех записывали – и в школе, и у мамы в университете, кто был, кто не был, потому что если ты не за партой или не на работе, то, может быть, и ты на площади?.. Лишь где-то

к утру третьих суток гул с площади, все это время доносившийся к нам в сад, внезапно стих. Потом Райка возбужденно повествовала, как было дело, как вдруг стоявшие неподвижно солдаты ринулись на толпу, как народ побежал в разные стороны и она тоже побежала, а потом, уже у дома, на углу нашей улицы, поругалась с какой-то дурой, которая что-то ей сказала, а Райка ей ответила, а та снова, а Райка ей, и как потом, когда Райка уже близилась к победе, их разнял кто-то из прохожих.

Город тем поздним октябрьским днем был каким-то подозрительно тихим. Пушкинский сквер опустел. Солдаты переместились на освобожденную от народа площадь. Потом они покинули и ее. Кругом валялся мусор да битая плитка, которой еще так недавно, готовясь к ноябрьским праздникам, выложили примыкавший к площади бульвар. Говорили, что во время ночного побоища она вся пошла в ход: люди с площади выламывали ее и швыряли в солдат. Но скоро мусор убрали, бульвар замостили заново, потом прошли ноябрьские праздники и демонстрации, прошли и наши осенние каникулы. Постепенно все вернулось на круги своя. Только Райка иногда занимала нас своими боевыми воспоминаниями, добавляя новые подробности о том, как той страшной ночью людей теснили с площади к Тереку, как некоторые сами прыгали в воду, а кого-то швыряли туда солдаты, орудовавшие направо и налево резиновыми дубинками, как кто-то утонул, как некоторые раненые боялись обращаться к вра-

чам, чтобы потом не было разных неприятностей. Я слушала все это с большим вниманием, а бабушка как-то без всякого энтузиазма. Наконец и Райке надоело повторять одно и то же, и она, предав забвению свое революционное прошлое, занялась привычными хозяйственными делами.

Когда в Райкину дверь постучался неизвестный ей парень и предложил на минутку выйти поговорить на улицу, она так и вышла за ворота – в тапочках и в любимом куцем халате, вытирая мокрые руки о фартук. Так ее и увезли. Куда? Ее приятель, кагэбэшный вахтер, уверял по секрету, что увезли ее недалеко, к ним же в подвал. «Нашли-таки антисоветчицу», – мрачно сказала бабушка, услышав от Казика, что закрытый суд приговорил его мать к трем или четырем годам лишения свободы. Казик плакал, но, в сущности, был даже как-то обрадован таким ходом дела – для него это был сущий подарок судьбы: наконец-то всех закадычных дружков можно было переместить с улицы прямо в дом и кутить напропалую. Теперь приятели в открытую таскали ему вино и анашу, а Райкин уют постепенно таял.

Я была в полном недоумении, за что и почему забрали Казикину Райку. Многие из соседей точно так же ходили поглазеть на площадь, и вот все тем не менее на месте. Это было очень странно. Только в начале перестройки, когда Райка наконец-то вернулась домой, разрешился мучивший меня вопрос, почему из всех соседей именно она загремела на целых пять лет. Оказалось, что «дура», с которой Райка руга-

лась в те октябрьские дни 1981 года, не только жила на нашей же улице и прекрасно знала Райку, но к тому же работала чуть ли не в городской прокуратуре. Это и помогло Райке так «прославиться». Однако, благодаря гипертонии и внезапно открывшемуся диабету, заключение свое она провела главным образом на койке тюремной больницы, о которой вспоминала даже с некоторой ностальгией – такая там была чистота и такие хорошие врачи. Несмотря на то что Казик тем временем прокутил почти все ее добро, настроение у Райки было приподнятое. Она вновь взялась за ремонт: цедила известь сквозь капроновый чулок, разводила цемент, штукатурила, белила. Райка даже определенно гордилась, что теперь она не просто «инвалид», как раньше, а «ребелетированная» – так она выговаривала это свое новое звание, за которое получала какие-то талоны, чем была очень довольна. Бабушка, к сожалению, до этого ее счастья не дожидая.

Бабушка умерла летом 82-го года, незадолго до моего дня рождения. Я не слышала, как это произошло. Мама закрыла двери в мою комнату, и только утром, когда она вошла ко мне вся изменившаяся, в неизвестно откуда взявшейся старой черной крепдешиновой кофточке, и протянула ко мне руки, я сразу все поняла.

Бабушка болела долго, почти весь год. Я была уже подростком, а не маленькой девочкой, и, как полагается в это время, средоточием всего моего мира в эти годы была я сама. Бабушка лежала в постели. Она не жаловалась, иногда я

только слышала, как она кашляет или тихо вздыхает.

– Я умру, и все вы без меня погибнете, – как-то сказала она мне, когда я шла через ее комнату.

– Ты еще всех нас переживешь, – сказала я в ответ.

Это звучало грубо. Но, во-первых, я действительно не верила, что может наступить время, когда бабушки не будет. Во-вторых, я не понимала, почему и как мы все вдруг должны погибнуть. А в-третьих (и это было главное), я была твердо уверена, что кто-кто, а я точно умру со дня на день. Так что я отнюдь не грубила, а констатировала факт.

То, что я должна была умереть, было очевидно – иначе на душе не было бы так пусто и одиноко. Правда, год назад мое предчувствие меня обмануло, и я напрасно черными чернилами записала в своем дневнике о том, что вот он наступил, этот конец бытия, которого я все время ждала. Тогда всем в школе делали ман-ту – пробу на туберкулез. Маленькой иглой кололи руку, а потом смотрели через день-два, какого размера будет появившееся вокруг укола красное пятнышко. Мне делали манту и раньше, и все бывало, как у всех, а в этот раз руку раздуло так, словно не рука, а бутылка.

– Ты не мочила руку водой? – спросила с подозрением в голосе школьная врачиха.

– Конечно, нет. Раз всех заранее предупреждали, что мочить нельзя, что же я буду нарочно делать?

Мне дали бумажку в тубдиспансер. Мама разволновалась: да, этот ужасный климат... эта вечная сырость, как в тропи-

ках... конечно, тут все может быть... вот и у бабушки, когда она была молодая, были слабые легкие, и она пила кумыс – кислое кобылье молоко... калмыки пригоняли в город табуны... Мама суетилась и нервничала, собираясь со мной в это жуткое заведение. Я же была спокойна и даже немного горда. Умереть молодой – это хорошо. Все будут переживать и сочувствовать. Они все долго меня мучили, а теперь им будет стыдно. За что? Да за все – за каждое слово, взгляд, жест, за все эти бесконечные «надо», «не надо», «можно», «нельзя». А кроме того, умереть молодой – это так красиво. И умереть от туберкулеза – это так романтично. Вот у Марии Башкирцевой, которая умерла в девятнадцать лет, был туберкулез, а она была художницей и писала письма Мопассану.

Мопассан был французским писателем, и у нас была его толстая книжка с пожелтевшими страницами в зеленой коленкоровой обложке. Так как это была единственная книжка в доме, которую мама мне читать не давала, уверяя, что такие книги могут читать только взрослые, то все, что было связано с именем Мопассана, получало особую притягательность.

Этого ореола таинственности бедный Мопассан лишился, когда наконец-то книга в зеленом коленкоре попала мне в руки, чуть ли не студентке. Оттого ли, что я ждала чего-то невероятного, оттого ли, что я слишком долго этого часа ждала, но Мопассан так и не стал моим любимым писателем. Достоевского я читала с гораздо большим интересом и

удовольствием. Мопассан же был для меня слишком телесен. Неудивительно, что он нравился Толстому. Но от всей этой телесности в конце концов становилось скучно. Только призрачная, растворенная в полупрозрачной дымке вечных припоминаний, претворенная в плоть прустовского утраченного времени мопассановская телесность переставала меня раздражать.

Но в тринадцать лет я еще не читала ни Пруста, ни Мопассана и меня мало волновало, есть между ними что-то общее или нет. Меня более занимало, есть у меня общее с Башкирцевой или нет. Я знала, что ее любила Марина Цветаева. Цветаеву я читала, и она мне нравилась. «Расстояния – версты – мили – Нас расставили – разлучили». Это было близко и понятно – и это страстное, разрывающее, рассекающее безжалостно и навсегда «с», и эти тире... И я тоже старалась ставить в своих стихах тире.

Башкирцева, к сожалению, стихов не сочиняла – она вела дневник. Но ведь и я тоже вела свой – круглыми детскими буквами в маленьких блокнотах. Там было самое важное не про эту, конечно, жизнь со школой и прочим, а про ту, внутреннюю, которую люди называют «личной» и про которую рассказывать вслух неприлично, а можно только записывать на бумаге. Вот я и записывала там про все: про то, как мне жить плохо и почему все так плохо – потому что никто меня не любит, ну совсем никто. Это было грустно, но это была правда.

Башкирцева была художницей. Хорошо ли она рисовала или нет, я не представляла, потому что никогда не видела репродукций ее полотен, да и вообще, кроме романтической истории ее переписки с Мопассаном и ранней смерти, я мало что о ней знала. Но рисовать я любила, а значит, тут тоже было что-то общее. Если честно, рисовала я скверно, но когда, валяясь с очередной простудой в постели, в сотый раз перелистывая альбом любимого Боттичелли или не менее любимого Дюрера, чувствовала страстное желание рисовать так же прекрасно, как они, так вот, когда находил на меня этот стих, я, бывало, к собственному удивлению, довольно сносно копировала карандашом какую-нибудь деталь из боттичеллиевского альбома. В этом смысле я тоже была «художница».

Кроме всего этого, и тут уже дело было меньше всего в Башкирцевой, я твердо знала, что все талантливые люди, – ну за редким исключением, тут какой-нибудь Гёте не в счет, – умирают молодыми. И Пушкин, и Лермонтов, и Маяковский, и Есенин, и Цветаева. Последние если и не сами умерли, то покончили с собой. Значит, и мне судьба – не бездарность же я полная, чтобы жить до ста лет!

Я смотрела на свою распухшую руку и представляла себе картину. Имя художника я не помнила, да он и не был ни Боттичелли, ни Дюрером, чтобы его имя надо было обязательно помнить. Картина называлась «Последняя весна». И хотя это был и не Боттичелли, и не Дюрер, и даже не Моне с его гениальными стогами, сиреневыми туманами и пестры-

ми скалами над морской зыбью, картина мне очень нравилась. На ней была изображена молодая женщина в голубом платье. Она сидит в глубоком, покойном кресле и смотрит на расцветающий первой нежной зеленью сад. Все вокруг нее так прекрасно и радостно, и она сама так прекрасна и радостна, но той особой, щемящей радостью последнего свидания перед вечной разлукой, где улыбка сквозь слезы, слезы сквозь улыбку. И мне кажется, что это я сижу в этом покойном, глубоком кресле, в голубом старинном длинном платье, что это мои глаза смотрят в глубь сада и что это моя последняя, прощальная весна. Мои щеки бледны. Лишь иногда на них вспыхивает яркий, болезненный румянец. Мне трудно встать, подняться из кресла, сделать шаг и спуститься туда, в сад, погружаясь в эту многоцветную зелень, изумрудно переливающуюся под лучами теплого яркого солнышка. Не вдохнуть мне полной грудью этот опьяняющий аромат нагретой солнцем листвы, этот кружащий голову томительной лаской аромат фиалок. Нет, нет и нет. В моей руке судорожно сжат белый батистовый платок. На нем следы. Эти следы – кровь. Это моя последняя весна. У меня – чахотка...

Но, увы, все эти мечты кончились абсолютно бесславно. Из тубдиспансера я вернулась ни с чем. У меня ничего не нашли. То ли вакцина была нечистая, то ли у меня на нее вдруг объявилась аллергия. Я смотрела с сожалением на уменьшающуюся припухлость на руке. Да, все могло быть так красиво – и вот ничего. Конечно, мне еще только тринадцать, а

Лермонтов умер в двадцать шесть. Значит, еще не все потеряно. Но ждать еще тринадцать лет – Господи, как еще долго, еще целая жизнь!

На Лермонтова я ориентировалась, потому что Лермонтова я любила все-таки больше, чем Башкирцеву, Цветаеву и даже Пушкина. Пушкина тоже, но с лермонтовской казачьей колыбельной я выросла.

Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.

...

Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой...

Эти слова я столько раз слышала в детстве, я столько раз засыпала под этот напев, под это «баюшки-баю», когда, маленькая, укладываясь каждый вечер в своем книжном углу, обняв игрушечного кота-баюна, сквозь полудрему различала бабушкин тихий, чуть дребезжащий голос, повторяющий вновь и вновь одни и те же слова о том, как тихо светит ясный месяц над колыбелью погружающегося в сладкий, глубокий сон младенца, не знающего никаких забот и не испытывающего никакого страха из-за того, что где-то там, далеко, «по камням стремится Терек, Плещет мутный вал; Злой чечен ползет на берег, Точит свой кинжал...».

И «Мцыри» мне очень нравился. Разве можно было равнодушно читать исповедь несчастного юноши, которому воспоминания о детских играх в родных горах были дороже и рая, и самой вечности? Разве можно было равнодушно скользить глазами по строкам, где он, угасающий, страстно заклинал старика-монаха:

Когда я стану умирать,
И, верь, тебе не долго ждать,
Ты перенеси меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста...
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно-золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет...

Я смотрела на близкие горы – зеленые, голубые, белопенные – и шептала: «Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе». Это тоже был

Лермонтов.

Лермонтов вообще был почти свой. Бабушкин брат – дядя Леня – им специально занимался, был лермонтоведом. Мы ездили с мамой в Пятигорск, в домик Лермонтова – такой маленький, с камышовой серой крышей. Туда дядя Леня отдал перед смертью всю свою лермонтовскую коллекцию. Это было давно – тогда, когда полетел в космос первый спутник, а Гагарин еще не полетел. Все жалели, что дядя Леня не дожил до полета Гагарина, потому что очень любил романы Жюль Верна и, конечно, радовался бы такому полету. Мне тоже было жаль дядю Леню, я тоже любила Жюль Верна и даже пыталась, подражая ему, сочинять роман. Правда, дальше первой главы дело так и не пошло, как, впрочем, и с романом в духе Дюма, для которого я избрала историю Фронды, юного Людовика XIV и Мазарини, как, впрочем, и с романом из средневековой жизни, на сюжет которого меня навела книжка о средневековом городе, – я выбрала толстый, еще начала XX века альбом для записей, исписала первую страницу и... все. Мой роман, как и у Жюль Верна, был о кругосветном путешествии. Путешествие совершалось не на ракете, хотя Гагарин уже давным-давно облетел на ней землю и улыбался на весь мир своей ослепительной улыбкой, а на допотопном воздушном шаре, представлявшемся мне почему-то более подходящим для приключений. Героиню эпопеи я назвала Мери – то ли потому, что она была англичанка, то ли потому, что так звали девушку в романе Лермонтова.

Я с печалью смотрела на черную гранитную плиту с надписью «Профессор Л. П. Семенов» на кладбище возле Осетинской церкви, на портрет дяди Лени, висевший у нас на стене. На портрете были грустные глаза, немножко беспомощные за стеклами пенсне, небольшая светлая борода. Он был здесь похож чем-то на Чехова, хотя, судя по другим снимкам (живым дядю Леню я не видела), ничего общего между ними не было.

Лермонтов тоже висел, но в другой комнате, вместе с портретами любимых писателей дяди Лени – с Диккенсом, Тургеневым, Толстым и Достоевским. Не сказать, чтобы он нравился мне внешне, но он был почти как член семьи и, кроме того, так хорошо писал:

Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.

Мне казалось, что и я бы могла так написать. Тем более, что жизнь моя действительно походила на тюрьму – все эти уроки, вся эта школа гадкая, ну прямо концлагерь какой-то с вечным страхом: вызовут – не вызовут, с вечными доносами одних распримерных одноклассниц на других, эта арестантская роба – вечно коричневое платье с нелепым черным фартуком и обязательными белыми воротничком и манжетами, которые надо пришивать, потом отпаривать, стирать,

гладить и снова пришивать – и так бесконечно. Хорошо, что это делает, главным образом, мама, а то просто невыносимо. Галстук пионерский сначала мне нравился. Это было некоторое разнообразие. Но он мялся, его надо было тоже гладить утюгом да смотреть, чтобы еще не сжечь, а то останется пятно или вообще дырка – галстук был из какого-то искусственного шелка.

Когда меня принимали в пионеры, все было очень торжественно, и я очень даже гордилась, что меня приняли одну из первых в классе, как отличницу. Немножко жалко было своего октябрятского значка, с которым пришлось расстаться. Но ничего не поделаешь – от детских игрушек тоже рано или поздно приходится отказываться. В пионеры нас принимали весной у памятника Ленину на проспекте Мира. Ленин стоял посреди площади на большом, черном, круглом, высоком, как колонна, пьедестале, указывая чугунной черной рукой вперед, прямо в голубое небо. Я знала, что пьедестал этот изображает тот самый броневик, на котором выступал Ильич во время революции. Вокруг памятника цвели тюльпаны, ветер радостно развевал красные знамена, мой красный галстук и мои вольно вьющиеся волосы с уже давно отрезанными косичками. Все было очень торжественно и радостно. Выступали учителя и старшеклассники-комсомольцы. Я смотрела на них и радовалась, что я скоро вырасту и тоже буду комсомолкой (о том, что надо умереть пораньше, я тогда еще не знала, потому что мне еще не было тринадца-

ти лет, впрочем, тогда я не знала и о том, как я буду заучивать ответы для приема в комсомол, а на вопрос, что я сейчас читаю, назову «Малую землю» Леонида Ильича Брежнева, чтобы побыстрее отпустили с глаз долой). Настроение у меня было замечательное, праздничное. Да и как не радоваться – солнце, цветы, бесконечное голубое небо куполом над головой, белоснежные горы вдали, пьянящий аромат от букетиков ландышей, которые держат в руках стоящие толпой родители, чтобы потом поздравить своих чад. Чудная весна, а впереди еще более чудесные, бесконечные, как эта небесная синь, каникулы. И кажется, что весь мир смотрит сейчас на тебя и ты стоишь в центре мира, как в центре этой площади, над которой возвышается Ильич.

Я с восторгом, захлебываясь, рассказывала бабушке все подробности – и про выступления, и про игравшую музыку, и про то, как нам повязали галстуки у памятника Ильичу. Бабушка внимательно меня слушала. Конечно, ей должно было быть приятно не меньше, чем мне, что меня приняли в пионеры одну из первых в классе, да еще у памятника Ленину, а не просто в школе, как потом будут принимать других. Бабушке тем более должно было быть приятно, что у нее такая хорошая внучка, раз дедушка был революционер, боролся за советскую власть, за то, чтобы всем – и взрослым, и детям – было так хорошо, как хорошо мне было сейчас. Я знала, что очень давно, в революцию, в 1921 году, дедушка был в гостях у Ленина вместе с другими горцами-рево-

люционерками. Недаром у бабушки над изголовьем кровати висел чуть ниже пластмассовой зеленой лампочки черно-белый портрет Ильича в деревянной черной рамке. Ильич был уставший, немолодой, но с острым решительным взглядом чуть прищуренных глаз. В моем детском книжном шкафу среди книжек про Петрушку, про девочку, которая ничего не хотела уметь, про природу и про разных зверей с чудными картинками Чарушина, были книжки и про Ильича, про то, как он маленьким жил в городе Симбирске с папой, мамой, сестрами и братьями. Книжки про Ильича тоже были с картинками. На этих картинках Ильич был похож на маленького амурчика или ангелочка – у него были голубые, широко открытые глаза и прелестные золотые кудряшки. Так что у меня был свой, маленький Ильич, а у бабушки свой, уже старенький.

И еще я знала (непонятно, откуда и каким образом), что Ильич висит у бабушки как бы в противовес тому человеку с большими усами и с трубкой в зубах, чьи портреты я чаще всего видела у водителей в автобусах или в такси. Правда, Ильич тоже висел повсюду – и в моей школе, и в мамином университете, и на улицах, но, как я чувствовала, у бабушки он висел именно вместо человека с усами, которого в нашем доме почему-то называли «дядя Джо». В отличие от водителей автобусов и такси, очень любивших усатого человека, бабушка не любила «дядю Джо», хотя знала его лично. В начале двадцатых годов он приезжал на Кавказ – укреплял тут

советскую власть. Тогда они и встретились впервые. Он подарил ей у кого-то реквизированное горностаевое манто, по-видимому тоже для укрепления советской власти – ведь ее муж был одним из сторонников нового режима. Встречались они и потом, когда дед с Кавказа переехал работать в Москву и привел ее в гости к человеку с усами. Забыть странной шутки за этим обедом бабушка никогда не могла. Уже должны были подавать третье, как хозяин, усмехнувшись в усы, поинтересовался, понравилось ли деду свиное жаркое, которое он только что ел. Родившийся в мусульманской семье, дед свинины никогда прежде не пробовал. Услышав вопрос, он выскочил из-за стола – его вырвало. Хозяин очень веселился: революционер, а от свинины тошнит, разве такими должны быть настоящие большевики?

Я не знала, какими должны быть настоящие большевики, но каждый раз, видя портрет человека с трубкой и его улыбку под массивными усами, я испытывала словно врожденную неприязнь, словно это я сама, а не бабушка, уповала на возмездие, стоя в темноте у барака, глядя на усыпанное звездами небо, раскинувшееся над темниковским исправительно-трудовым лагерем. Я знала, что из-за него погиб дед и его троюродные братья, что один из них зубами вскрыл себе вену в тюремной камере и так обрел желанную свободу, что бабушка тоже была в тюрьме. Можно сказать, судьба послала ее из бутырской камеры туда, в мордовский барак, к двоюродной сестре, к тете Фате (Фотиньей, как звали в крещении,

домашние ее никогда не называли). У Фати дома остались двое детей. От тоски и отчаянья она просто сходила с ума. Однажды, взглянув в миску с баландой, вдруг истошно начала кричать в голос: «Это мозги моего мальчика плавают, моего Мити! Убили моего мальчика, убили!» Бабушка ей рот рукой зажала и скорее в барак, потому что больных забирали и потом их больше никто не видел. Утешала, уверяла, что все будет хорошо. Так и вышло – Фатин Митя остался жив, а вот бабушка, вернувшись из лагеря, одного из своих четверых так и не досчиталась. Старшие целы остались, как и самая младшая, мама моя, – дядя Леня с тетей Леной взяли ее к себе. А вот среднего, самого любимого своего мальчика, так и потеряла. Деда арестовали 22 июня 1937 года.

Через полгода, 1 января 1938 года, когда дед – в семье об этом долго никто не знал – был уже расстрелян и прах его затерян в общей могиле у Донского монастыря, забрали ее. Следом взяли в детдом и Махача. Правда, через год вернули в Москву, к старшему брату Мурату. Но с началом Отечественной войны он опять оказался в детдоме. Там и умер, пока она была в лагере. Бог весть, как умер, отчего, где похоронили. Свалили в кучу с другими да и зарыли. Что там церемониться – дети врагов народа, голод, война. Не удалось ему, как старшему товарищу по детдому Иосифу Дику, уйти на фронт. Тот, хоть и лишился на войне обеих рук, выжил, стал детским писателем. А от Махача только и осталась фотография, где он стоит в матросочке, восьмилетний, высоко,

задорно вскинув свою светлую упрямую голову. И еще два локона остались – один с головы прабабушки, когда та умерла, и его. Прабабушкин темный, а его золотисто-белый, соломенный, который бабушка срезала просто так, еще до всяких катастроф.

Обо всем этом бабушка не говорила или почти не говорила. Так, по репликам отдельным да с маминых слов догадывалась, почему у бабушки висит Ильич. Висел он над ее изголовьем и пока она болела. И в тот день, когда, проходя через ее комнату, я бросила ей в ответ свое «Ты еще всех нас переживешь», он смотрел на меня своим острым, решительным взглядом, чуть с прищуром, уставший, немолодой. Ильич смотрел на меня от изголовья своим острым с прищуром глазом и тогда, когда я помогала больной бабушке встать в туалет. Обычно это делала мама, но она была в университете. Мне было и жалко безумно ее слабое, дрожащее тело, и стыдно, и неприятно, и унижительно и за себя, и за нее, что она такая старая, слабая и беспомощная, что хотелось закрыть глаза, вырвать руку из ее судорожно сжатой руки и убежать далеко-далеко, за тридевять земель. Только после бабушкиной кончины, когда мама все переставляла в доме, чтобы не было в нем столь по-сиротски пусто, Ильича сняли со стенки, открыли ящик книжного шкафа, положили на дно и задвинули вглубь. А о бабушке после ее смерти мы старались не говорить – если заговорить, непременно заплачешь, а что плакать – только друг друга мучить, да и плакать

все время невозможно.

Прошло несколько лет, я была уже студенткой и с филологическим любопытством изучала домашний архив. Разбирала старые дореволюционные открытки с розовощекими, улыбочивыми барышнями в кокетливо заломленных шляпках, усыпанных снежной пылью и обвитых надписью «С Рождеством Христовым», старые альбомы, куда бабушкиной сестре, тете Лене, словно в пушкинские времена, поклонники вписывали стихи, пририсовывая к ним причудливые виньетки; подписывала фотографии в семейном альбоме – тех, кого помнила, но были тут и такие, из казачьей родни, имена которых уже и не восстановишь – бабушки нет, и не у кого спросить; перепечатывала из блокнотов никогда не публиковавшиеся стихи дяди Лени; читала бабушкины воспоминания о деде, сравнивая эти, написанные в «оттепель» воспоминания с теми, что слышала от нее самой, и понимала, что устные рассказы были живее, жизненнее. Среди всех этих изысканий попалась мне в руки и тоненькая пачка писем – даже не пачка, а так – несколько листков, написанных аккуратным детским почерком. Эти письма могли бы своей ребяческой наивностью вызвать улыбку, если бы это не были его письма к ней в лагерь.

«18. IX. 39 г.

Здравствуй, дорогая мама. Ты просила меня написать о том, что произошло после твоего ареста. 2 января ко мне приезжал штатский мужчина, чтобы взять меня в Данилов-

ский распределитель. Но я сказал, что, покамест нет дома брата, я не поеду. Он уехал. Затем он приехал 5 января. Муры опять не было дома. Но я тогда взял чемодан, наполнил его нужными вещами и вместе со штатским пошел. Мы сели в машину и поехали. Через полчаса уже были в Даниловском распределителе. После я на неделю остался жить в Даниловке. Ко мне приходил Мура. 11 января я и еще несколько ребят вместе с двумя военными поехали на Ярославский вокзал. В час ночи отходил наш поезд в Рыбинск. Дорога шла мимо Ярославля. Всю ночь мне не спалось.

Утром часов в десять наш поезд остановился в Рыбинске. Было 12 января. С этого дня я находился в детдоме им. 1 Мая за Волгой. Только через год, уже осенью, Мура взял меня к себе. Когда я жил в детдоме, то переписывался с Азой и Миной. Аза мне писала стихи и присылала рисунки. Мина рисовала куколок, а под ними писала коротенькие стишки. Летом я ходил купаться на Волгу и гулял с ребятами в лесу. Зимой катался на лыжах и коньках. Когда я приехал домой, то Мура еще спал. Нам открыла дверь соседка Гулютина.

17 сентября я пошел учиться в школу. Новый 1939 год встретил у Васи Седукова. Я начал писать рассказы и читать книги. Сдав экзамены, я перешел в 6-ой класс. Летом Мура устроился работать в парк. Я ходил к нему. Записался в парковую библиотеку и брал оттуда книги. Помогал Муре. Из игротеки брал ходули и на них ходил. Я научился на них хорошо ходить. Свободно могу на них подняться по лестни-

це. Сойти и взойти на гору. Умею очень быстро ходить. 1-го сентября пошел учиться. Ребят у нас в классе мало. Девочек в два раза больше. Мой любимый предмет литература. В будущем я хочу стать писателем. Вот тебе небольшой рассказ «Осень».

«Я шел вдоль липовой аллеи, мимо куч желтеющих листьев, рябой поверхности пруда и заколоченных будок от кваса. Осень чувствовалась везде. На каждом шагу. Где та краса лета? Цветущие липы, густые кусты и наливающиеся яблони на острове? Уже не раздастся трель какой-нибудь пичужки или крик стрижа. Все как будто заснуло, умерло. Заглохли пустынные острова с голыми деревьями, не видно прохожего, лишь залает в стороне собака да засвистит сердитый ветер. Аллея была усыпана скрюченными листьями. Они, казалось, мучились и просили пить. Но холод сковал их, и они не двигались. Я присел на одиноко стоявшую скамью под большой липой. Уже не было слышно знакомого ласкающего шелеста листьев, только угрюмые сучья качались от ветра».

Я описывал мою прогулку осенью того года. До свиданья. Махач.

29. IX. 39 г.

Здравствуй, дорогая мама. Я соскучился по тебе. Напиши мне о том, как ты живешь, что делаешь, как проводишь свободное от работы время. Я же жив и здоров. Учусь в 6-ом классе. Обо мне не беспокойся. В школе веду себя хорошо и

стараюсь как можно лучше учиться. Жду с нетерпением, когда ты вернешься. Тогда мне уже будет 17 лет. Когда ты вернешься, то я вскоре пойду отбывать воинскую повинность. Пробыв 2 года в армии, я снова вернусь, а к тому времени вернется папа, и мы счастливо проживем. Я пойду учиться в институт. Мура уже будет служащим, Аза тоже, Мина кончит школу. Все мы выйдем в люди. Но до этого ждать еще долго. Не надо падать духом, а надо бороться против всех лишений судьбы, быть впереди, выбиваться и терпеть. В учебе мне помогает Мура. Уроки я делаю сам, если не понимаю, то спрашиваю у него. Свободное время провожу за чтением книги или пишу. В школе меня выбрали в состав 3-х человек ответственной редакционной коллегии классной стенгазеты. Мы будем собирать заметки для стенгазеты, рисовать рисунки, оформлять и т. д. Если мы хорошо будем выпускать стенгазету, то нас премируют. Наш класс будут бесплатно водить в кино, на выставки, в музеи. Аза мне давно не пишет писем, и я ей тоже. Мина, наверно, выросла и ходит в школу. Я думаю о том, когда Мина вырастет большой и мы с ней встретимся. Аза, наверное, приедет к нам в Москву, когда кончит школу. Тут она будет учиться в институте. Я читаю каждое твое письмо и знаю, что тебе трудно жить. Сейчас чувствую себя хорошо и думаю, пиши эти строки, о тебе, об Азе и Мине. До свиданья. Махач.

27. X. 39 г.

Здравствуй, дорогая мама. Я сейчас написал рассказ “Гу-

ниб”, который пошлю на конкурс. Потом я пришлю его тебе. Кроме того, сейчас написал несколько стихов и хочу еще написать. В школе дела идут ничего. За изложение «Песнь о вещем Олеге» Пушкина я получил отлично. За два диктанта получил тоже отлично. Я уже окончательно решил стать писателем. Кончить 10 классов и, отбыв воинскую повинность, поступить в литературный институт. Кончив его, я стану писателем. Но до этого придется десяток лет упорной борьбы.

Вчера исполнилось 17 лет Азе. Мина ей прислала поздравительное письмо. Рисунок оттуда мы пошлем тебе. К нам приехала Аза с одной женщиной, которая сопровождала ее. Она скоро уедет. А Аза останется у нас жить. Тетя Лена будет нам присылать деньги, а дядя Леня добавочно для Азы.

Хожу иногда гулять в парк. Сейчас у нас уже холодно и топят батареи. Пишу рассказы и, как я уже писал, стихи.

Вот тебе мой стих.

В мире людском человек, как пылинка
В этом потоке бесчисленных дней.
Жизнь расцветает, как чудная роза,
Гаснет, как пламя свечей.

До свиданья. Махач».

Среди этих листков был и один, написанный бабушкиным почерком. Это было ее письмо к детям, посланное из лагеря осенью 1941 года. «Не узнали ли что-нибудь о Махаче? – спрашивала она. – Письмо мое должно быть кратко. Поэто-

му оно может показаться сухим. Но знайте, что сердце мое полно такой безмерной материнской любви, которую не выразить никакими словами».

Я перепечатала и этот листок. Для кого, для чего? – разве я нашла бы, что ответить на такой вопрос. Но это было единственное, что я могла сделать для того мальчика в детской матросочке с золотисто-белыми, словно соломенными вихрами. Мне казалось, теперь я знаю все о нем и о ней. Ни убавить, ни прибавить уже ничего нельзя. Все это стало историей, а история неизменна. И все-таки через двадцать лет после ее смерти, когда я уже давно жила в Москве, а наше владикавказское родовое гнездо пришло время продать хоть за какие-нибудь тридцать сребреников – и потому, что приехать в город, оказавшийся почти прифронтовым, с каждым разом было морально все тяжелее и тяжелее, и потому, что сам дом постепенно рушился из-за поднявшихся подземных вод, естественное течение которых еще в начале семидесятых было нарушено строительством монументального фундамента комитета безопасности, – мне случайно стало известно то, что я не знала раньше.

Дело было в этой матросочке – она каким-то чудом уцелела, несмотря на аресты, разорение дома, несмотря на все смерти и страдания. Эта детская матросочка – единственное, что оставалось у нее от него, от ее мальчика. Положить эту матросочку в свой гроб, в изголовье, она просила близких. За год до ее кончины матросочка исчезла. Усомнилась

ли она, что выполнят, не забудут, не поколеблются, не захотят ли сохранить для памяти, для себя, а потом, напротив, выбросят – не хранить же вечно всякое старое барахло, – но только чувствуя, что пришедшая болезнь будет последней, будет неизбежным финалом ее восьмидесятишестилетней жизни, она взяла и зарыла ее в саду. Как звери зарывают свою добычу, так и она сама схоронила навсегда то, что было для нее еще дорого в этом мире, то, что ей удалось вырвать из рук судьбы.

Я не знаю, какое она выбрала место в нашем саду, в том саду, который казался мне земным раем в счастливые дни моего младенчества. Я не видела этого своими глазами. Да и поняла бы я, что она делает, если бы и видела это тогда, тринадцатилетней маленькой эгоисткой? Что мы знаем о других – даже не о дальних, а о близких? Ничего. Что мы знаем о себе? Разве мы понимаем себя? Нет, нет и нет. Мы – слепые.

Дурак

Нельзя быть поэтом без некоторой склонности ко лжи и притворству. Напротив, философом нельзя быть без любви к истине. В этом заключается одно из главнейших отличий философа от поэта, в силу которого первый выше второго. И действительно: философы гораздо реже встречаются, нежели поэты.

А. Шопенгауэр. Афоризмы и отрывки

Не знаю, когда мы познакомились. Ни месяца не помню, ни числа... Помню лето, дачу, застекленную веранду, солнечные блики на деревянном полу, розовые и белые соцветья в глиняном кувшине на обеденном столе... Солнечное, беззаботное, бездумное, тихое лето... И ничего больше. Ни лица, ни голоса – словно и не было, словно показалось в полусне, в летней полудреме: подняла глаза, обернулась – да нет никого.

Он приехал неожиданно, как, впрочем, почти всегда неожиданными бывали эти дачные визиты. Хлопнет калитка, зальются захлебывающимся лаем обе собаки и понесутся, ломая кусты, наперерез к аллее, а ты ждешь: постучится ли кто в стеклянную верандную дверь или шаги, постепенно приблизившись, вновь стихнут – значит, гости к хозяевам, в другой конец дома.

А впрочем, может быть, он что-нибудь и сообщал тетке,

потому что он ехал к Алеше – встретиться, поговорить. Но, думаю, вряд ли заранее был известен день и час – ощущалось, что он не совсем кстати. Алеша занимался под кленами. Гостя нужно было чем-то занять, и надолго, и тут под теткину руку подвернулась я: почему бы вам не прогуляться?

Вдвоем ли мы отправились или вместе с мамой? Думаю, что с мамой – так вероятней. Бродили мы долго, но о чем говорили – стерлось из сознания безвозвратно, словно я смотрела сквозь него, словно отвечала, не слыша. Помню, что уже после бесед на веранде, после совместной трапезы, перед самым отъездом он на каком-то листке написал свой адрес и попросил мой. Я назвала из вежливости, но, глядя ему, уходящему, в спину, недоумевала – о чем и зачем мне с ним переписываться?

Кажется, это была первая мысль по его поводу за истекший день.

Когда за ним захлопнулась калитка, я решила уточнить детали у тетки – кто он и что. Пишет кандидатскую диссертацию по философии, поклонник Алеши, живет в Минске – вот и весь ее арсенал. То, что в Минске, было понятно и по адресу, а вот зачем он будет мне писать – ради меня или ради Алеши?.. Вероятнее, ради Алеши. Эта мысль меня почему-то успокоила. Что ж, посмотрим, какие письма пишут философы. И я забыла о нем.

Шло теплое, долгое, тихое лето, бездумное, беззаботное. Мне было восемнадцать лет, и мне было не до философов –

известных или неизвестных. Я чувствовала себя частью этого нагретого солнцем соснового леса, этого синего за зелеными верхушками неба, частью этой дачи, частью моих близких, частью этого родного и любимого мира, а может быть, наоборот: весь этот мир – частью самой себя.

Я не запомнила его голоса, его лица. Не запомнила, когда пришло от него первое письмо. Но оно пришло, и оно было длинным, как, впрочем, были длинными почти все его письма, пока он писал мне, пока я ему отвечала. И теперь я вижу эти тетрадные, в клеточку, листки и этот размашистый, но разборчивый почерк. Вижу эти синие строчки без пробелов, сплошным потоком. О чем они были? И были ли вообще? Ничего не осталось.

Первое из писем удивило меня обращением. Наши с мамой имена стояли вместе в первой строке, но все дальнейшее относилось явно только ко мне. Но тогда при чем тут мама? При этом обращался он к нам со словами «Добрый день». Разве так пишут? Почему «добрый день»? А если я получу письмо утром или вечером, то как тогда быть с добрым днем? Что-то было в этом нелепое. Ни мама, ни тетка, никто из знакомых так не писал. И конечно, я сама так никогда бы писать не стала. Я писала обычно, как мама, начиная все письма со слов «дорогой» или «дорогая», если адресат был женского пола.

«Но не могу же я писать ему «дорогой»?» – вдруг почему-то усомнилась я, садясь за ответ. То, что можно оставить

письмо безответным, я тогда не представляла – я была обязательная, я была отличница, я была так воспитана. Но все же надо было как-то начать... После долгих колебаний – странных, потому что «дорогой» я писала и своим, и чужим, так как это была лишь формула, не более того, – я наконец вывела: «Здравствуйте, Сергей». Так было нейтральнее: почти как его «Добрый день», но только уместнее, и привычнее, и приличнее, что ли. Постепенно и он перенял эту форму.

Письма от него приходили аккуратно, и как-то незаметно для себя я привыкла их получать. Мне даже начало нравиться получать эти письма. Они не были исповедальными, хотя иногда прорывались и грустные, личные нотки, они были живые, иногда даже с какими-то забавными подробностями его житья-бытья. Постепенно отвечать ему перестало быть тягостным. Напротив, хорошо было взять и на какой-нибудь скучной лекции, периодически бросая проникновенный взгляд на стоящего у кафедры, строчить строка за строкой текст очередного письма. О чем они были, эти письма? Где они теперь? Ничего не осталось.

Минули осень и зима. Наступила весна 1986 года. Как это теперь далеко – словно из иной эры – ничуть не ближе, чем весна 1886-го или 1786-го. Теплым, южным майским вечером мы возвращались из гостей и попали в грозу. Я всегда любила дождь, не холодный, октябрьский, а другой – освежающий после душного, жаркого дня. Но после этой грозы, в которой я вымокла с головы до ног, до последней нитки,

я и ночью, и следующим днем все чувствовала себя как-то не так, как-то неладно, словно меня ломало и мутило. Потом странное ощущение прошло, да было и не до ощущений – мы улетали с мамой в Душанбе. Маму пригласили на конференцию, а я увязалась следом, бесплатным приложением. И увязалась не зря. Этот беглый взгляд на неведомый мир, где клубника и абрикосы, пионы и розы все вместе, сразу, в начале мая, где зной и песчаные горизонты за караван-сараями и безмерная чинара над чайханой напоминали о существовании реальных пустынь и оазисов, а сиренево-безжизненные подножия Памира – о Гималаях, – разве не стоил этот взгляд всех неудобств перелета от Кавказского хребта туда и обратно?.. Когда мы сидели, замерзшие, в пустом зале автобусного вокзала, куда нас доставили из аэропорта, и дожидались шести утра, чтобы добраться на машине до дома, это еще не было столь очевидно.

А дома, когда мы наконец-то пришли в себя, постепенно стало ясно, что что-то произошло. Этим «что-то» был Чернобыль. Мы как-то не заметили его за путешествием в Душанбе, за всеми восторгами от предгорий Памира, где мы жили, от сладостной горечи зеленого чая в чайхане, от прозрачно-опаловых абрикосов и клубники. И тем не менее он был. Телевизор и радио говорили одно, в городе – другое. Говорили, что понемногу везут на Кавказ детей не только с Украины, но и из Белоруссии, что к лету ими будут заполнены все местные санатории, что там прошел «след», что этот

«след» был и у нас, но что у нас все равно «чище», а там совсем худо.

Там худо? Кого-то привезут? Привезли? Детьми из Гомеля заняты уже все детские санатории под городом? «А как же мой философ?» – подумала я и сказала маме: «Надо пригласить его на лето, надо послать ему телеграмму».

Мама изумилась. Я и сама теперь изумляюсь: чужого человека, которого толком никто не знает – десяток писем, и все... Но тогда мне казалось это естественным: человеку, может быть, грозит беда, значит, его надо спасать. Тем более, если это так просто – взять и позвать в гости, чтобы было куда уехать.

Мама была покорна. Она изумилась по-другому. Она не спрашивала о моих мотивах. Она только изумилась, почему не письмом – письма тогда доходили от нас за неделю, почему именно телеграмму – экстренность такая к чему?

Тут тоже все было, на мой взгляд, яснее ясного, проще простого. Мы сообщим ему наш телефон и то, что мы его приглашаем в гости, а детали обсудим в разговоре. К чему длительная переписка, если кругом творится такой кошмар?

И я послала телеграмму.

Несомненно, это была ошибка – из тех ошибок, которые сначала кажутся единственно верным, разумно-приемлемым решением.

Он позвонил на следующий же день. Я изложила идею. Кое-какие дела, в том числе и университетские, мешали осу-

ществовать ее тут же, но в принципе «да», в принципе «спасибо», в принципе «июнь» как оптимально возможный срок. Он мог бы приехать на целый месяц. И прекрасно. Пусть приезжает. Он купит билет. Он позвонит. Он напишет еще письмо. Он приедет.

Я повесила трубку очень довольная своей благотворительностью. Хотя, в сущности, что менял этот месяц вне Минска в его жизни с точки зрения радиации и Чернобыля? Это как в «Черной тетради» Гиппиус: достали фунт муки и успокоились, словно этого хватит и на весь голод, и на всю революцию...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.